



Михаил Александрович Калашников родился в 1985 году в селе Белогорье Подгоренского района Воронежской области. Окончил исторический факультет Воронежского государственного педагогического университета. Публиковался в журналах «Подгём», «Звонница», «Сибирские огни», других региональных периодических изданиях. Автор трех книг прозы. Лауреат Исаевской премии (2020 г.), премии «Кольцовский край», дипломант фестиваля «Во славу Бориса и Глеба», участник Российской соециализации молодых литераторов (Воронеж, 2019). Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Михаил Калашников

ДОЛГИЕ ДОРОГИ

*Из романа
«Красное горе Белых гор».
Часть вторая*

ГЛАВА XX

Пелагея растворила дверь, выглянула с высоты порожков за калитку. Час ранний, улица пустая. Подхватив ведро, она перебежала двор к закутку, где клюня смыкалась с хлевом. В этом закрытом с улицы углу она скинула ночную сорочку, посмотрела на восход солнца, торопливо прочитала «Отче наш», перекрестилась и хлопнула себе на лицо и грудь холодной воды. Апрельское солнце алой ягодой катилось из-за Дона, отпотевала после ночного морозца земля. Пелагея торопливо опускала ладони в колодезную воду, ухая, сдавленно повизгивая, омывала себя пригоршнями. Наконец, насмелилась и перевернула над головой чуть опорожненное ведро. Небрежно обтершись сорочкой, дрожа и подпрыгивая, снова скрылась в хате.

Над дворами неслись сдавленные вздохи, шелестела пролитая из шаек и ведер вода. Выбегали где целыми семьями, где по одному. Верили в святость омовения на рассвете этого дня, подчинялись древним обычаям и родительскому слову, не хотели нарушать заведенного. Хныкал разбуженный ребенок, заливался плачем несмышленный младенец, с досадой кричал дряхлый старик, уже не могший выйти на святое действо.

В Чистый четверг дым коромыслом в жилищах и дворах. Почти поголовно белит вся слобода хаты, только нерадивому и убогому нет дела. Оголяются саманные стены, утепленные по осени: убирают бабы «щитовку» — высохшие стебли кукурузы и высокого бурьяна. Тучами бежит из «щитовки» расплодившаяся мышьяная орда, визжат робкие девки, и снуют у них меж ногами опытные, пережившие много весен коты. Отлетает от стен траченная дождями и снегом, обветшалая за зиму глина. Бабы весело ляпают в дыры свежую замеску, оранжевую, с рубленной ярко-желтой соломой, древесной стружкой, песком и речной ракушкой. Толчется в ступах мел, белоснежная крошка его, почти пудра, болтается в ведрах с водой, и девки помоложе лезут на низкие лесенки, купают сплетенные из трав щетки в молочного цвета жиже, белят подмазаные и подсохшие стены. Ветхие одежки их, дырявые платки и веселые лица покрывает мелкие белоснежные веснушки.

Отворяются настежь окна и двери, чадная хата вдыхает свежий весенний ветер. Любовно и ласково белится кормилица-печь, вылетает на улицу все накопленное за зиму сметье. Синькой или суриком на высохшей печи рисуются хозяйкой узоры, цветы или вазы. Оливково-зеленой массой расплозается по земляному полу доливка — жидкая смесь коровьего навоза и глины. Долю в хатах уберегает она от сырости, плесени и грибка, запирает лезущих из земли паразитов. Сверху подсохшей доливки посыпают хозяйки свежую мяту и полынь, ароматный дух в жилище неделями стоит, как в травяном сочном поле. Если б не корова, чем крестьянин топил бы хату, чем бы мазал полы и прысьбу¹?

Мужиком тоже забота: править покосившийся плетень, чинить дыры в обветшалых крышах, грести во дворе сор и выкинутый из хаты залежалый хлам. Все это вместе с пережитыми за год дрязгами и ссорами несет крестьянин к саду и там сжигает поздним вечером, когда солнце уже уходит. Верит, что этим огнем он исцеляет свой двор и семью от новых грядущих неурядиц, заодно «греет ноги покойным родителям» и теплым дымом окуривает вишневый цвет, сберегая его от поздних весенних заморозков.

Выбелив хату внутри и снаружи, Пелагея протопила подсохшую печь, нагрела чугуна воды, запарила душистого хмеля, вымылась в корыте после заката. Унесло водой дневную хлопотную усталость, прилипшую к коже глину и меловую пыль, волосы ее снова напалит хмельной дурнопьян.

Последние дни перед Великим днем, праздником праздников. Уже зудит язык от нескромных речей, которые снова, по крестьянскому мнению, можно будет заводить с окончанием Великого поста, зудит желудок в ожидании скоромной пищи.

На Пасху вся слобода в храмах, только мужа Пелагеи нет, да еще немногих «убежденных». Пелагея стояла в укромном углу храма, возле бокового выхода, куда попадал свежий уличный воздух, готовилась к исповеди. Ей всегда было тяжело в праздник: народу полно, креститься скореженной рукой, поклон отбить невозможно — лбом в чью-то спину упираться, воздух спертый, не продохнуть. Ветхие бабки со всех сторон окружают, затхлым жилищем и могильной прелью от них несет. Рядом стоит благоумный лет тридцати, мать-старуху за руку держит, с Пелагеей глаз не сводит и слюну, что изо рта катится, не думает утирать. С другого боку инвалид калечной рукой крестится, только два пальца на ней уцелело. Пелагея с отвращением подумала, как увечный воин ласкает свою женку этой рукой. Не слыша слов молитвы и всей службы, Пелагея зажмурилась, часто закрестилась, погнала от себя дурные мысли: «Враг навалился, его работа, совращает, проклятый. Все батюшке выложу, и про мысли свои шальные, и про то, как в праздники не люблю на службе стоять... Смирения прошу у Тебя, Господи!»

¹ Завалинка, фундамент (*суржик*).

Но подошла ее очередь, и Пелагея винилась Богу через уши отца Николая о другом грехе, рассказывала о скорби по неверующему мужу.

— Что поделаешь, чадо, — утешал ее священник, пахнувший неведомым церковным благовонием. — Жена мужа редко неволит, все чаще он ее. Попомни мое слово, он скоро тебя начнет из церкви сманивать.

Пелагея, глотая слезы, кивала и молчала о том, что муж уже начал это делать.

— В миру говорят: муж — голова, а жена — шея, куда повернет, там и будет. И про евангельскую мудрость не забывай: спасешься сам, и возле тебя спасутся ты-сячи. Стой на своем твердо, ему ничего не навязывай, но и его шибко не слушай, помни заповедь Божью.

Долга всенощная в праздник, и поздней ночью бьют весело колокола, трезвонят о Воскрешшем и о конце службы. Люди расходятся по домам, где с вечера на столах укрыто чистыми рушниками разговение. Скрипят под ножами воздушно-го теста куличи, творожные пасхи, лупится крашенная в рыжей луковой шелухе яичная скорлупа. Разговевшись и выпив положенное за праздник, ложатся спать. Просыпаются позже обычного, одеваются в лучшие платья. И расцветают яркими одеждами слободские улицы, выгоны на окраинах, сады и рощицы. Детвора режется в «мяча», «третьего лишнего», «булж», бьются пасхальными яйцами, определяя самое крепкое. Там, где молодость вышла из дитячьего возраста, звенит балалайка, гармошка, а редко и «тройныцька» запоет — мини-оркестр из цимбал, бубна и скрипки. Пойдут по выгонам и садам пестрые девичьи хороводы. Так в старину было, так и теперь есть, хоть война только отшумела и революция еще не улеглась, новой войной грозится.

Пасха в этот год в самый канун Егория выпала, а на Егорьев день всегда скотину на выпас гнали. Пелагея достала из-за божницы овященные на Вербное воскресенье ветки, прочитала короткую молитву, похлестала себя по плечам и груди. Андрей сидел за столом, скоблил бритвой скулы, жена его тихо подошла сзади, легонько шлепнула пушистыми вербными «зайчиками» по затылку и по ушам. Андрей игривости ее не оценил, напрягся, недовольно вымолвил:

— Не шути, обрежусь.

Пелагея вышла на двор. В середине улицы свистнул пастуший кнут, располосоловал воздух и хлестко щелкнул, выбив из длинного, плетеного воловьей кожей хвоста облачко пыли. Вдоль улицы скрипели калитки, выпускающая застоявшийся в кошарах скот. Пелагея растворила дверь в хлеву, обогнала свою худобу, пронеслась через двор и встала у распахнутой калитки. Занеся над головой пучок освещенной вербы, она отстегала им проходившую между калиточных столбов корову.

Пелагея видела, как вцепился в нее глазами молодой незнакомый подпасок, мелькнула в них отчаянная страсть и еще что-то нечитаемое. Кажется, был он из монастырских, там она его по осени видела.

Феликс обшарил глазами всю ее ладную фигуру, сглотнул набежавший комок и стал смаковать в мыслях: «Какая чертовская красота! Природная, из народных глубин бьющая. Видал барышень всяких, но такую прелестницу, если в городское платье нарядить... Княжна, не меньше».

В монастыре царил скудные времена. Бельцы, живущие на испытании, почти все бежали еще зимой, остались несколько, в том числе и Феликс, да монашеская братия. Зиму пережили впроголодь, весной пошли наниматься в слободу, кто куда. Феликсу выпало в подпаски, труд несложный, подготовки не требовавший. Сам Феликс слышал о кочующих с Украины красных отрядах, об их вольной и богатой жизни, ждал проходящей ватаги или случая.

Полнилась мычанием улица, словно здоровались, перекликались подруги после долгой разлуки, взлетали над калитками вербовые ветки, опускались на коровьи бока, крестили хозяйские руки уходившую на выпас скотину.

— Стадо куда погоним? — спросил Феликс у пожилого пастуха.

— В Поляковой наша делянка.

Пастух, в былые годы обошедший всю округу, нанимаясь в другие слободы и села по своему нехитрому делу, взглянул на тщедушное тело Феликса, про себя отметил: «Слабоват, после обеда ноги вытянет, а завтра заплетать ими будет. Такого в канцелярию сажать, а не в попас».

Он разрезал воздух батоном, крикнул диковинное погонщицкое «Гъяйды!» У Феликса обозначилась на лице улыбка:

— Дядька Юхим, что это означает?

— Не знаю, Федька. Испокон веку так мы коров гоним.

Второй подпасок, немногим младше Феликса, но на пастьбе встречавший не первый год, молодецки крикнул:

— Гъяйды! Гъяй!

Они прогнали стадо по Набережной, обошли по краю Базар, миновав Черноземную, вышли к Курбецкой. Улица топорщилась рогатыми головами и рыже-белыми спинами, текла коровья река по выгороженному плетнями коридору, ляпали в дорожную пыль лепешки ковяхов. Иная кормилица, не дожидаясь поля, нагibalась у колодезного сруба или покосившегося плетня, срывала первый пучок травы, на ходу пережевывала.

На коровенку пегой масти сзади запрыгнула рябая, наползла ей на хвост своим брюхом и прошагала на задних ногах за ней следом, свесив передние по бокам. Этот же ритуал с пегой проделала другая корова. Феликс спросил у Юхима: почему так происходит?

— Хех, да у нас каждый малец про то знает. Тебе хоть раз выпадало череду пасти? Запомни эту пегую и вечером, как хозяйка забирать ее будет, скажи: до быка вашу пора вести.

Феликс заметил, как под хвостом у пегой хлюпает беловатая прозрачная жидкость, потому и ринулись коровы поочередно охаживать свою мокрую подружку. Перед глазами Феликса мелькнула пегая прядка, выпавшая из-под платка красавицы хозяйки.

Стадо вышло за слободу, и тут Феликс понял, что пастьба — не прогулка. От дядьки Юхима то и дело прилетало:

— Федька, вот ту подвертай! Не видишь, она у тебя выбилась. А эту — завертай!

Феликс бежал вдоль своего края, то подгонял корову, то окорачивал зарвавшуюся, долго не мог понять, в чем разница между «подвертай» и «заветрай», а слово «навпопасы» было для него необъяснимо. Ближе к полудню коровы стали ложиться и гонять во рту жвачку. Пастухи сели под кустом боярышника. Феликса не укоряли, промахами ему не тыкали, разложили на простеленном мешке собранную крестьянской общиной снедь.

— О, сегодня щедрый двор нас провожал, — похвалил пастух, достав из мешка аптечную склянку с самогоном. — А то попадетса куркулиха, все постное положит, ни сальца тебе, ни мяска.

Он вытащил из склянки облущенную сердцевину кукурузного початка, приподнял значительно посуду:

— Ну, за праздник. За Егория, кормильца нашего. За рабочую пору.

Пригубил, забулькали пузырьки в стеклянном горлышке, протянул второму по старшинству — подпаску Кузьке. Тот надхлебнул, передавая Феликсу, предупредил:

— Немного, на вечер оставляй.

Феликс пить не хотел, но посчитал, что обидит пастушьё братство и сделал глоток еще меньше, чем Кузька. Жадно накинудись на еду, у пастухов до весны тоже бескормица, как и у рогатых-хвостатых, которых они по полям гоняют. Когда все

уничтожили до крошки, пастух откинулся на спину. Играло солнце на двуглавом орле, выдавленном на стенках аптечной склянки.

— Дядька Юхим, а ты Мышутянскую череду когда-нибудь пас? — осведомился Кузька.

— Хох, парень, да в округе нет такой череды, чтоб моей морды не знала. От Сагунов до Семеек мне каждый кусток знакомец.

— А правду говорят, что на Молочном озере нечистая живет?

Пастух взгляда на Кузьку не повернул, ответил не сразу:

— Годов десять назад нанялся я в Мышутянскую череду, пошел через гору: на выпас глянуть, как трава взошла, как вода в озере, сухой ли берег, можно ль череду подвести, чтоб напилась. Дней за пять до Егория это было. Гляжу, а на Молочном весь берег копытами коровьими хоженный, все испятнали, будто стадо в воду сходило.

Кузька открыл рот, глядел на пастуха округлившимися глазами, надумал спросить:

— Кто-то череду до Егория выгнал?

— Не, Кузьма, никто стада не выгонял, а было то самое, про что ты вначале спросил. Есть такая отметка, когда всяка нечисть после зимы просыпается.

— Вальпургиевой ночью зовется, — подал Феликс голос.

— О, Федька образованный... знает, — усмехнулся пастух.

— Не дай Бог с нечистой встретиться, — набожно перекрестился Кузька. — Мне бабушка рассказывала, что делать против русалки нужно. Когда встретит она человека, так непременно спрашивает: «Польнь или петрушка?». Следует отвечать «польнь», тогда русалка ругается: «Сам ты сгинь!». А если ответить «петрушка», так русалка бросается и щекочет: «Мой ты душка!»

— Бабка тебе не все говорила, — наставлял пастух. — Щекочут они не только руками, а и грудями. Зовут: пойдём колыхаться, мол, качаться на ветках, а может, чего и посурьезней, чем просто «качели».

Феликс отвернулся, сорвал сухую травинку, вставил себе меж зубов, упрятав ироничную улыбку: «Как глубоко сидит в них язычество, одной рукой крестятся, другой — стучат по дереву». Он вспомнил, как на Вербное воскресенье ходил с монахом Афинодором служить в Семейскую пещеру. Феликса взяли алтарником. В Семейках был свой приход, но Белогорский монастырь иногда отправлял пещерную братию вниз по Дону в знак духовного окормления над подземными храмами округи.

В тамошней пещере, как и в Белогорской, стоял посреди алтаря выбитый из цельного мелового блока жертвенник. Афинодор сложил на него все полагавшееся к службе, но Феликс успел заметить четко прорубленный в жертвеннике кровосток — неглубокую желоб-канавку. Феликс подумал, что пещеры эти копаны в древние дохристианские времена, а потом новые люди и эпохи наслоили новую веру, вместо жертвенного козла уложили на меловую крейду просфору и вино.

— Увидал он в воде хвост белорыбицы, ударил острогой, аж кровь в воде вскипела, — вернул Феликса из воспоминаний голос пастуха, перешедшего от личного опыта к слышанному в округе байкам. — В тот же вечер шел он с ловли к дому. Вдруг слышит, плачет кто-то над самой головой у него. Глядь на ветку, откуда плач шел, а там девка с волосьями зелеными, за ляжку себя держит, а из ляжки кровь цебенит. Говорит она ему: «Зачем острогой меня ширяешь? Аль больше ширнуть нечем?»

Кузька слушал с нетерпением, ему тоже хотелось леденящих кровь сказок. Феликс заметил жадные глаза подпaska. Пастух тем временем откупорил склянку, махнул рукой:

— А-а, чего там оставлять, давай досушим.

Подпасок протянул склянку с последним глотком, Феликс на этот раз отказался, Кузька вылил в себя остатки самогона, утерся рукавом и решился на рассказ:

— А я один раз сам видел, как русалки в озере сидели. Нанялся в тот год аж под Коротояк, занесли меня ноги в маленькую деревеньку. Гнал поутру коров, а они по пояс в воде сидят, ржут тихонько, на меня не смотрят, гребень у одной из рыбьего скелета, она им лохмы чешет, а другая кувшинку срывает и ей вплетает.

— Так, може, то девки простые были? — недоверчиво взглянул пастух на подпасака.

— Сельцо малое у них было, я всех девок по мордам знал. А неместным что в той речке с ранья делать? — горячо ответил Кузька.

Феликс продолжал терзать зубами травинку, прятал за этим занятием свою ухмылку, обернулся к пастуху, хотел посмотреть, верит ли старый Юхим подпаску. Тот глядел окаменевшими глазами вдаль, стал говорить тревожно:

— Не, Кузема, нечистая сила так просто на показку не является. Если б они к тебе вышли...

У Феликса прошел легкий холодок по спине от пастушьего голоса, и монастырский житель чувствовал: все, что было брякнуто здесь языком до этой секунды, — все ложь.

— Я видел одного такого, кому от щекотухи уйти пришлось. Митроня с Коловерти, он до этого тоже с нами пас. Вот нанялся он в москалячьей стороне пасть, отвел стадо на тырло, а среди ночи проснулся — нет череды, только в лугу дудка играет. Он кинулся следом, видит: идет по лугу баба мясистая, сисяки как цебарки² свисают, дудкой на ходу коров манит. Кинулся он на нее с батоном, а она извернулась и давай титьками кузюкать. Как ушел от нее — не знаю... А потом гляжу — и слухом Митроня ослаб, и даже ходить по-иному стал. Такое с ним началось... Идет сам на себя не похожий, рожи корчит часто. Спросишь его, а он и не ответит, не слышит будто или свою думку думает... А тогда как захохочет, прям без удержу. И причины-то для смеха нету! Никто не пошуткует рядом или еще там чего, он знай себе закатывается, аж дышалку у него сводит... Бес в нем сидит, и человечью душу под грех подводит.

На небе сияло майское солнце, пел высоко над головами жаворонок и свистела трава от насекомой мелюзги, но Феликса начало мелко трясти, зубы принялись четко вызванивать. Пастух перевел на него свой затуманенный взгляд:

— Чего ты, Федор?

Феликс потянул на уши свой ветхий зипун, упал на бок, стал кутаться в одежду: — Лихоманка старая проснулась, должно быть... Я с детства маюсь...

Он лукавил. Лихорадкой Феликс никогда не болел и сам не мог себе объяснить, почему его бьет трясушка. Он только теперь осознал, чем занимался. Это не объяснялось научной степенью гипноза, человеческой психологией или воображением, этому дали свое название люди, запекли в понятные для себя оболочки, обрядили нужными суевериями и страхами, чурались этого и спасались по-своему — когда именем божьим, а когда и пращуровым заговором.

Феликса трясло, лезли в голову мысли, он гнал их от себя и не мог победить.

ГЛАВА XXI

По Брестскому мирному договору Крым не отходил под контроль Центральных держав, но Германия жаловалась, что с полуострова постоянно приходят на материк десантные корабли, сухопутные матросские отряды, подбивают портовые Николаев и Херсон на восстания и вообще всячески вредят, нарушают дого-

² Ведро.

ворность о невмешательстве в украинские дела. Людендорф заявлял прямо: Крымскую колонию следовало бы тесно связать с Украиной, а Севастополь сделать немецким Гибралтаром на Черном море.

Тут же вспомнили, что Крым назывался «Готландом» — страной Бога, и населяли его германоязычные готы. Плевать, что это было в незапамятные времена, можно ведь все вернуть.

Германцы махнули через перешеек на полуостров. Несогласные капитулировать или оставаться под немцем уходили по узкой прибрежной дороге на восток: Севастополь — Ялта — Судак — Феодосия — Керчь, пробиваясь через районы, занятые восставшими татарами. К 5 мая, потрепанные и прореженные, они перешли на Таманский полуостров.

29 апреля большевиками из тюрьмы срочно был освобожден контр-адмирал М.П. Саблин и наделен сверхполномочиями. В этот же день он приказал уходить флоту в Новороссийск. Чтобы уберечь корабли от огня немецкой артиллерии, Саблин распорядился поднять на них «желто-благытти прапоры». За тридцать минут до полуночи первая группа кораблей Черноморского флота начала прорыв в Новороссийск. На следующий день Севастополь покинули линкоры «Воля» и «Свободная Россия». Всего ушли из Крыма около шести сотен плавающих единиц с тремя тысячами матросов. К вечеру в порт входили германо-турецкие морские силы.

Чуть не на следующий день новые хозяева стали вывозить из Крыма все, что осталось от прежних времен и хозяев. Из Севастопольского военного порта уплыло припасов на два с половиной миллиарда рублей, оборудование Симферопольского аэропланного завода, Керченского металлургического завода, готовые аэропланы и запасные части к ним, радиостанции, автомобили, телеграфное оборудование, имущество бывших дворцов императорской фамилии, мебель из Ливадийского дворца, полотна Айвазовского, античные произведения искусств. Черноморская жемчужина радовала новых хозяев обилием фруктов и овощей, виноградниками и плантациями диковинных персиков.

Моряки из Севастополя, чьи дома и семьи были в городе, с горечью говорили: «Вот он, “Габен”, три года за ним гонялись, а он сам пришел».

— Без боя город отдаем. Деды в могилах содрогнутся. Скажут: «Что ж вы, сукины сыны? Забыли, как Севастополь полагается оборонять?»

— Как мимо Павла Степановича теперь ходить?..

Немцы быстро перелезли с кораблей на берег, смело ходили мимо «Павла Степановича» и заглядывали в его каменные глаза, фотографировались у его поста-мента, у надгробных памятников своих предшественников — англичан, сардинцев и французов. Но по поводу ушедшего из Севастополя флота печалились, требовали возвращения кораблей, угрожали возобновить наступление, радовались тому, что большевики проявляют свою глупую непокорность и тем самым дают новые поводы для вторжения.

Наступление началось в начале лета, и правительство в Москве, не имея малейшей силы ему противостоять, отправило в Новороссийск телеграмму: «Ввиду безвыходности положения, доказанной высшими военными авторитетами, флот уничтожить немедленно. Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)».

На многих кораблях, где команды не имели перевеса в числе большевиков, плюнули на приказ из Москвы, подняли в машинах давление и двинулись обратно в Севастополь, где немцы пленили плавучие крепости, матросов ссадили на берег и отправили по домам, а корабли угнали в Турцию. Уходящим в Крым судам оставшиеся в Новороссийске собратья, члены некогда большой единой семьи, вывесили флаги-послания: «Позор изменникам России». Те, кто уходил к немцам в лапы, считали позором топить свои собственные корабли.

Эсминцы «Керчь» и «Лейтенант Шестаков» отбуксировали покинутые матросами суда в открытое море близ Цемесской бухты. По омертвевшим бездвижным кораблям «Керчь» пускала торпеды, как в тире. На эсминце «Гаджибей» вспыхнул вымпел предсмертного сигнала «Погибаю, но не сдаюсь». Корабли вздрагивали от торпедных пощечин, оскорбленные, жалкие и унылые медленно скрывались в черноморской юдоли. Эсминец «Керчь», невольный палач своих собратьев, ушел к Туапсе и затопился сам.

На Балтийском флоте было все понятно и не так плачевно. С февраля по май в несколько этапов там проходил «Ледовый поход». Сначала флот убрали из близкого к фронту Ревеля, перекинули на северную сторону Финского залива, в Гельсингфорс. Балтийским флотом руководил Алексей Щастный, время и правительство не уберегли его честное имя. 5 марта немецкие корабли заняли Аландские острова, стали высаживаться в Финляндии.

Из Гельсингфорса вышли два ледокола торить путь флоту через стянутую зимним панцирем Балтику. До 11 апреля Щастный перегнал весь без остатка флот из Финляндии в Кронштадт: эсминцы, миноноски, подводные лодки, минные заградители, тральщики, сторожевые корабли, вспомогательные суда. За время похода не была потеряна ни одна единица, хотя дисциплина в революцию резко упала. Популярный адмирал стал вызывать подозрения, в мае по приказу Троцкого его арестовали «за преступления по должности и контрреволюционные действия», а 21 июня приговорили к расстрелу. Напрасно адмирал привел весь флот целиком, если бы располовинил, оставил часть немцам в финских портах или нечаянно «растерял» корабли в пути, глядишь, и уцелел бы.

Первого мая немцы взяли Таганрог, четвертого числа Антонов-Овсенко объявил о прекращении войны и роспуске своих армий. В тот же день на станции Коренево германское командование подписало бумагу о прекращении огня на Курском направлении, установилась между противниками десятикилометровая нейтральная зона.

На Воронежской стороне, под Богучаром, война только начиналась. Губерния в конце апреля объявила себя находящейся на военном положении. Начальник боевого участка Павлов мотался день и ночь по юго-восточной железнодорожной ветке, собирал в кучу разрозненные мелкие отряды. От Евстратовки до Кантемировка, как сторожевой пес, скованный длиной своей цепи, курсировал бронепоезд под командой лихого потомка казаков Тимофея Яицкого. С Украины катились потрепанные, измученные долгими походами партизанские ватаги. В Богучар пришел отряд тираспольцев, их командир, Гарькавый, просил телеграфом у воронежского военного комиссара Иванова: «Необходимо хоть бы две тысячи винтовок, пятьсот тысяч патронов, десять пулеметов с лентами». Из местных складов ему выдали вполтину меньше и... в тот же день отряд пешим порядком отправился подальше от немцев, в Царицын.

На станции близ южного городка Россось, где Павлов держал свой штаб, шла сутолока. Подогнали эшелон, но посадка не начиналась. На водокачке стоял агитатор и, перекрикивая гам и пыхтение стоявшего под парами локомотива, через жестяную воронку зывал:

— Красногвардейцы! Доблестные соколы революции! Вам оружие нашей властью дадено не для того, чтоб вы от врага бежали! Обернитесь! Сольемся вместе и отстоим богучарщину!

Из толпы ему махал бумажкой командир отряда Змиев:

— А вот это я куда дену? У меня приказ Овсенки: садиться на паровоз и тью-тью!

В отряде тоже не было единства, спорили и толкались:

— Баб с детишками и раненых, кто обессилел дюже, тех сажать и отправлять, а нам в оборону становиться!

Петр Хвостов вертел изредка головой по сторонам, наблюдал сотоварищей. Ларька уже давно внутри теплушки, влез сам, помог шпаненку, пожилому крестьянину с жеваной лысиной, тянул руку к одному из «таежных братьев». За рукав своего земляка ухватил его приятель «не разлей вода»:

— Куда?

— Домой!

— А не хочешь на зуб мой? Вместях уговорились воевать, вместях и бросим!

Агитатор спрыгнул с водокачки, подошел вплотную к Змиеву, Петру было слышно их разговор.

— Оставь хоть трохи, хоть тех, кто хочет остаться...

— Отряд разбивать? Да за такое знаешь, что бывает? — возмущался Змиев.

— Кантемировку немцы вчера заняли... Ну с чем я останусь? У нас в Богучаре семьдесят душ пехоты да десятков всадников.

— Вот именно — Кантемировку заняли. К вечеру, самое большое — к завтраму, в Россоши будут.

Агитатор отчаянно махнул рукой на паровоз:

— Сядь в теплушку, закрой глаза. Что будет, то будет.

Змиев недолго окидывал взглядом свой рассыпанный бушевавший отряд, потом залез на подножку локомотива, взял у агитатора его жестяную воронку, прихватил к своим губам:

— По-о-olk! По ваго-о-на-а-м!

Он поднялся к машинисту, и не прошло минуты, как паровоз натужно фыркнул, дал длинный свисток, стал медленно трогаться. Сомневавшиеся запрыгивали на ходу, тряслись вдоль рельсов разбитые телеги, с них перескакивали в теплушки на подставленные руки. Петр оглядел людей, осталась едва ли двадцатая часть отряда. Остался студент Лев, остались оба таежника.

Хвостов вспомнил вчерашний разговор со Змиевым на привале. Они оба растянулись у затухавшего костра, оба не спали. Петр тихо проговорил:

— Скажи, командир, ты воевал?

— Старший унтер-офицер, к твоему сведению.

— И ты считаешь, что все это того стоило? Вся эта революционная каша? Да в самые поганые времена, когда армия рушилась, она была сильнее, чем нынешняя твоя банда.

Змиев молчал, улыбался с закрытыми глазами, долго обдумывал и ответил:

— Ты ведь тоже на фронте был. И как пушка стреляет, видел? Ты знаешь, как она после выстрела назад катится, пока в противооткаты не стукнется? Так и мы. Революция — это выстрел, и мы катимся, а как в дно упремся, так назад пойдём и обязательно на место встанем. Встанем, готовые к новому выстрелу. Партизанщина вся эта, расхлябанность — это временное, посмотришь на нас через годок.

— То же самое все будет, то же самое. Меня в твоём отряде, как только не зовут: Петрован, Петруха, Пэтэрык даже, только не Петром. В самые разгульные дни солдатской вольницы мои бойцы себе такого не позволяли.

— Там ты прапорщик был, а тут такой же серый, хоть и в бекеше.

— Это и без тебя знаю, но как насчет обычного людского понимания. Не страха перед офицерским наказанием, а простой человеческой теплоты.

— А вот этого не жди. Плетка и только плетка. Комитеты мы уже отменили, скоро за дисциплину возьмемся. Все взад вернется.

Вслед за паровозом уходили вдоль шпал скрипучие телеги, храпели измученные дорогой лошади. Агитатор был теперь в седле, как и двое прибывших с ним на станцию. Рупором он больше не пользовался, сзывал оставленных на станции

бойцов. Всех пересчитали и внесли в карандашные списки, велели постройться. Спросили насчет оружия, из толпы кричали, что все при стволах. Потом агитатор бегом поставил задачу:

— Сейчас двинемся на восток, к Старой Калитве. На юг идти опасно, там немец, но это вы и без меня знаете. Что еще... Если поспеем к закату, заночуем в Терновке. Назавтра путь долгий, перейдем по мосту Черную Калитву и свернем к Богучару.

Один из спутников агитатора нагнулся к его уху, что-то напомнил, тот кивнул, крикнул толпе:

— Если есть среди вас унтер-офицеры — выйти из строя!

Решительно вышел один, другой... Петр колебался, потом сделал шаг вперед. Агитатор поманил вышедших к себе, когда подбежали, стал объяснять:

— Вернетесь сейчас к людям и разделите их на взвода. Путь туда добровольный. Пускай взвода будут разные по количеству, но чтоб люди вас знали и доверяли.

У Хвостова ожидаемо оказался самый маленький отряд: Лев, оба таежника и еще пяток человек, Петру незнакомых, пошедших к нему по неизвестным причинам.

— Командиры взводов, назовитесь! — приказал с седла агитатор.

Громко прозвенело с правого фланга: «Матвей Золотаренко!» Мягким и теплым, совсем не командирским голосом отозвался начальник второго взвода, носивший такую же теплую фамилию, как и его голос: «Взводный Хлебодаров!». Петр снова задумался, точь-в-точь как минуту назад, когда размышлял, выходить ли из строя. Хвостов вспомнил Ростощкого, Змиева, Ларьку, рабочего из Юзовки, в голове пронеслось наивное: «А ведь мама в былое время запретила бы с ними играть... Даже с Ростощким, таких хулиганов у нас отчисляли из гимназии», и крикнул чуть громче, чем остальные взводные:

— Максим Гадюкин!

Он заметил, как шевельнулась голова бывшего студента, но больше никто из его отряда не посмотрел в сторону перекрещенного Петра. Агитатор занес в списки выкликнутые имена. Отряд растянулся походной колонной, пустил дорожную пыль из-под обуви.

К закату прошли вдвое больше, чем рассчитывал агитатор, и заночевали в Старой Калитве. В походе и на привале Лев никаких вопросов не задавал, словно по старой привычке называл своего командира Максимом, остальные из отряда, может, и вправду не помнили его истинного имени.

Из слободы вышли в рассветных сумерках. Не доходя моста через Черную Калитву, увидели, как Дон, бегущий до этого к югу, круто уходит на восток, словно толкает его в скулу, сворачивает с привычного бега впадавшая в него заболоченная Калитва. На донском пути в этом месте выростала еще одна громадная слобода — Новая Калитва, а ее подпирала с юга Миронова гора, закрывала привычный путь Дону. Средоточие воды, жилья и мела. Отсюда Дон к Волге начинает тянуться, жадно вбирает в себя покорную наложницу Калитву. По ее берегам — зеленое камышовое море, оторочка из вековых верб, гул мельничных колес, гром воды в желобах, сытая мучная пыль. Кончалась тут Острогояская земля, начинался Богучарский уезд. Здесь до украинских рубежей — доплунуть, а нынче значит — и до немцев.

Встречь самих немцев летела слава о них. Хутора и слободы полнились вестями: не успели прийти — хозяйничать стали. В Смаглеевке вывезли шесть тысяч пудов хлеба, угнали отару в двести голов, мужики за винтовки схватились, что с фронта принесены, так к вечеру сотня дворов к небу пеплом улетела. По Михайловской волости всех коней отобрали и хлеба не меньше, чем в Смаглеевке, расстрелянных уже два десятка. Генерал фон дер Гольц на авто по хуторам лично

катается, казни наблюдать любит. В Митрофановке шестнадцать человек повесили... В Россошь немцы вошли торжественным маршем, с распущенными знаменами и оркестром. По деревням и слободам лютуют, везде партизан ищут.

Шли не спеша, берегли и так разбитые ноги, к вечеру остановились в хуторе Подорожном, близ большака. Агитатор выслал вперед двух своих конных разведчиков. Вернулись они поздней ночью, взводных собрали на совет. По грубой деревянной столешнице расстелилась самодельная карта, на земляном полу в штабной хате вповалку спали мертвецки вымученные разведчики. Рука с неровно облущенным ногтем водила карандашом по куску серой оберточной бумаги:

— Набросал вот для вас... Мне-то эти места знакомые, а вы люди не здешние, поэтому... Вот тут мы, вот это — Богучар, это дорога на Кантемировку.

Между двух городов была проведена черта, и на нее, как на нитку, насажены слободы и деревни: Писаревка, Талы, Бугаевка, Скнаровка, Смаглеевка...

Агитатор продолжал:

— Хлопцы мои говорят, что вчера ночью наши из Богучара вышли, а к утру из Талов немца выбили. Вот эта полоска, что я нарисовал, — шлях, где мы нынче ночуем. Думал я вас в Писаревку вывести, чтоб подальше от немца, а раз его отогнали, то вернемся завтра в Ивановку и через Лещенково пойдем сразу на Талы, срежем мальчика.

Проспали чуть дольше обычного, дали отдохнуть конным разведчикам и своим избитым ногам. Агитатор самолично ходил по хуторским дворам, скупал за керенки хлеб и сало для отряда, следил, чтоб не было грабежей. Перед полуднем вернулись в Ивановку, оставленную за спиной вчера вечером.

На майдане пропасть народа, толпятся у расклеенных на церковной ограде воззваний:

«Всем волостным и сельским Ревкомам и ячейкам РКП(б)!

Настал грозный час испытаний молодой Советской власти в нашем уезде. Немецкие наемные войска в союзе с бандами украинской буржуазии расправляются с бесчеловечной жесткостью со всеми, кто работает в партии, в советских и общественных организациях, отбирают у населения хлеб, скот и прочее имущество. поголовно мобилизуют всех способных носить оружие и отправляют на французский фронт на полевые работы.

Товарищи! Кому дорога Советская власть и все завоевания революции, кто хочет быть свободным гражданином, а не томиться в вечном рабстве и лизать сапог самодовольного Вильгельма, тот должен идти под знамена красных социалистических отрядов.

Товарищи! Формируйте на месте партизанские отряды и о численности немедленно сообщайте в Богучар Военной коллегии. Создавайте в каждой слободе организационную Тройку, которая ведала бы вопросами обороны. Высылайте в нужные направления разведчиков. Усиливайте связь с соседними слободами и хуторами. Немедленно готовьте в каждой слободе верховых для передачи донесений о передвижении неприятеля. Сообщайте об этом по телефону или нарочным в Богучар и в штаб фронта слободы Талы.

Вперед без страха и сомнения!

Богучарский Военно-Революционный комитет».

Взглянули по-новому на кочующий отряд жители Ивановки, заметней стала добрая надежда в лицах, пропала вражда, которой провожали их до этого почти в каждом селе. Агитатор, подъезжая к толпе медленным шагом, бросил с высоты седла:

— Ну, что? Будут добровольцы для нашего отряда?

В толпе сразу зашумели, потом полетели вскрики, бабы призывы о помощи:

— Обороните, родимые! А мужиков мы своих с душою отпустим.

— Конешна! Мы готовы. Это ж не в Польше кровя проливать, тут свое, понимать надо...

Из толпы выбежал парень лет двадцати, остановился у стремени агитатора:

— Я из местного исполкома, мы уже думали формировать отряд, а тут вы... ждем ваших распоряжений... — Внезапно вспомнив, добавил: — А разведку-то мы выслали, должна после обеда вернуться.

Агитатор довольно и снисходительно кивал, с седла не сходил, взмахами соизвал взводных. Решили задержаться в селе, принять в отряд желающих, дожидаться вестей от местных разведчиков. Отряд разместили по хатам, хозяйки в складчину наварили кулеша на всех, угощали домашними разносолами, грели воду для помывки, стирали запыленным в походе солдатам белье. Шла запись добровольцев, из окрестных хуторов потянулись бывшие фронтовики, и отряд раздулся чуть ли не втрое. Людей распределяли поровну, и у Хвостова теперь был полнокровный взвод.

Поздним вечером вернулись разведчики на измотанных лошадях, у всех была одна весть — немцев выбили из Бугаевки. Агитатор вновь водил по самодельной карте карандашом, строил планы:

— Решил я новым путем идти, товарищи. Теперь свернем на Дерезоватую и выйдем Скнаровке во фланг. Раньше-то у нас силенок маловато было, боялся я на самостоятельные шаги, а теперь можно и рискнуть. Разведчики говорят, завтра наши богучарцы Скнаровку штурмовать будут, вот с фланга их и поддержим. Только выйти надо пораньше. Как думаете?

Первым отозвался Хлебодаров:

— Рано выйти сумеем, народ за день отдохнул, подчистился, подлатался. Откормили нас сегодня. К походу, я думаю, готовы.

Петра озаботил другой момент:

— Надо бы до атаки связь с богучарцами наладить, чтоб одновременно на штурм идти.

— Выйдем за Атамановку, пошлю в Бугаевку пару конных, пусть связь держат, — заверил агитатор Петра.

Ивановку покинули затемно, шли ходко остаток ночи и все утро. Перевалили длинные меловые бугры за Атамановкой и узнали от разведки, что Скнаровку на рассвете богучарцы отбили. К обеду спускались с вершин голых холмов. Виднелись в жаркой майской дымке разбросанные хатки. Слобода, разрезанная надвое мелкой речкой Богучаркой. Дальше на юго-запад через заболоченный луг лежала точно такая же слобода-близнец: и хатки те же, что в Скнаровке, и маковка церковная, и Богучарка ее надвое делит, и шлях на Кантемировку обок слободы бежит — Смаглеевка. Только в ней пока немец живет — и вся разница.

Следы утреннего боя попадались в пути. На меже двух окраинных огородов текла к речке канава, на дне ее размыто виднелись мертвое лицо и носки кованых сапог, все остальное прятала мутная вода. Не различить под ней формы или одежды мертвеца, и лишь по сапогам видно, что это немец. На выстеленном молодой травой бугре играла стайка детей: сажали пойманного ежа под стальной чужедальний шлем с выпуклыми сосками на лбу, стучали по нему оброненным в бою широким штыком. Шлем звонко отвечал, а дети просили ежика:

— Улитка-улитка, высунь рога — дам тебе пирога.

Навстречу выходили отдельные бойцы и целые ватаги, радостные, довольные собой, кричали приветствия, потрясали оружием:

— Подмога нам, братцы! Подмога идет!

— Где Прокопенко? — спрашивал агитатор у встречающих.

К отряду уже бежал командир богучарцев с биноклем на груди, на ходу выкрикивал:

— Вовремя, товарищи, очень вовремя!

Агитатор спрыгнул с седла, обнял командира, с гордостью обернулся к собранному им отряду, обвел пехоту рукой:

— Видал войско?

— Молодец, не подвел. Да к нам теперь со всего уезда идут! Победы наши — лучший агитатор. До Ворошилова вести дошли, обещался в помощь интернационалистов своих подкинуть! — сиял Прокопенко. — У нас теперь, брат, все пойдет. Утром пулемет захватили, еще трофеев по малости. Пленные даже были...

— Где ж они, пленные? — заволновался агитатор, в жизни своей не встречавший живого немца.

— А вон, — обернулся Прокопенко на старую грушу, накрывшую широкой тенью своей перекресток, — на солнышке сушатся.

Агитатор, а с ним почти весь отряд вгляделись в грушу. На толстых ветвях ее, как на новогодней ели игрушки, висели человеческие фигурки.

— Фон дер Гольц любит на казни любоваться, — продолжал командир. — Пускай приезжает — любитесь.

И тут же влез на освобожденного агитатором коня, крикнул вновь прибывшим людям:

— Товарищи! Вы поступаете под мою команду! Моя фамилия Прокопенко. Помощником у меня Ковалев. Комиссары в отряде — члены Военной коллегии Ермоленко и Сармин. К вечеру вам укажут позицию, а пока отдохните с дороги, подкормитесь.

Прокопенко с агитатором ушли, отряд рассыпался по выгону, вытянули солдаты после марша уставшие кости. Скоро прибежал хозяйственник, повел их через слободу ставить на квартиры. Проходя по мосту через Богучарку, Петр видел у деревянной дубовой опоры среди тонких травяных стеблей собачий скелет, затянутый в полуистлевшую шкуру.

ГЛАВА XXII

За Ростовом Щерба и Остатнийгрош пересели с поезда на гужевые колеса. По рельсам гуляла «эшелонная война», шли с севера черно-бушлатные отряды балтийцев, вскипала революционной волной местная казачья вольница. Прибывшие с фронтов или унесшие ноги из тыловых гарнизонов офицеры — дворянские, поповские и купеческие дети, сбивались в мелкие отряды, ощеривали зубы, отбивали у неискушенных в воинском деле красногвардейцев станицы и городки. Хлеб-солью встречали их казацки, посеребренные сединами и наградами за турецкие войны степенные старики. Кланялись в пояс, искренне твердили, что нет больше веры их глупым, поверившим в коммунизм сынам.

Остатнийгрош находил попутные перекладные транспорты, и путь их медленно тек дальше. Иногда бывший фельдфебель рассуждал вслух: «Как там наш тележанс? Жив ли еще, добрался ль Шноли до Новороссийска? Остальные как...» Ждал, что Щерба его поддержит, снова заговорит, как прежде. Щерба молчал. Только когда въезжали они в полосу большевистской земли, спрашивал у своего попутчика: почему тот не примкнет к крестьянской власти?

— Навоевался, — проводил Остатнийгрош ребром ладони у себя под ноздрями. — С одного фельдфебеля толку мало: и без меня власть новую защитить смогут.

Катились по Верхнему Дону, шла на убыль казачья земля, маячила на гори-

зонте грандиозной мужицкой крестьянской губернии. По обеим сторонам степного шляха тянулись пахотные черноземы. Ранняя южная весна выгнала здешнего хлебороба на поля, еще не истаял до конца март, а снег по нивам весь в почву уплыл. Маячили на чистом голубом фоне степенные волы, темные фигурки, налегшие на ручки рогатых плугов. Свиристал в небе жаворонок, пахло потревоженной парной землей, томленными на солнце травяными корнями, накипавшей весной пахло.

Щербе надоело сидеть, он спустил ноги вниз, прыгнул с медленно ехавшей телеги. Пахота была рядом, в двух шагах от обочины, Алексей нагнулся, зачерпнул горсть земли. В ней ворочался гладкий дождевой червь: обручи по нему — как годичные кольца. По разрытым бороздам деловито ходил грач, будто на собственном подворье, залепленным сырой землей клювом выбирал из нее харч. Щерба бросил в него куском лежалой конской ковыахи, выпустил дождевого червя на волю. Когда выпрямлялся, заметил в земле еще что-то, снова нагнулся и поднял ржавую железку в половину пальца длиной. С одного конца заостренная, с тыльного — маленькое круглое дульце. Пущенная во врага стрела кочевника истлела за много веков, остался только кованный наконечник. Щерба вертел его в пальцах, очищал от грязи, протирал о рукав, потом спросил у Остатнийгроша:

— Ты думал: откуда мы взялись?

— Бог сочинил человека, — уверенно ответил бывший фельдфебель.

Щерба убрал в карман находку, снова на ходу зачерпнул горсть почвы, не без издевки сказал:

— Из праха земного?

— Так и есть, — не чуя сарказма, стоял на своем Остатнийгрош, — из земли вышли, в нее и обратимся.

Он помолчал, наконец распознав иронию в едкой улыбке Щербы, заговорил:

— Ты знаешь, как моя бабка помирала? Мучалась три дня, в бреду кричала. Болеть у нее всю жизнь ничего не болело, никогда не жалилась, а видать внутренний грех ее терзал, оттого и причитала. Потом вернулась она в себя, очунала, говорит: «Пустили меня на одну мгновенью с родней проститься»... Нас всех внучат у кровати ее собрали, она обвела больших и малых взором, и глаза такие, аж светятся, никогда у нее таких глаз не бывало, и говорит голосом не своим, будто подменили ее: «Вот уже карета едет, за мной... к воротам нашим подкатила...» И все, преставилась.

Щерба снова запрыгнул в телегу. Ухмылку с лица его убрало, но веры в нем не прибавилось.

Из складки дорожной показалась лошадиная голова, потом вся скотина целиком, катился навстречу им такой же неспешный транспорт. Они еще не поравнялись, а возница с телеги, где ехал Щерба, всмотрелся, узнал товарища, крикнул:

— Земляк! Куда путь ведет?

С встречной телеги ездовой ответил:

— Да вот, нанялся — что проданся... Гимназистов по домам везу.

За его спиной сидели трое: светло-серые шинели с голубыми петлицами, форменные брюки навыпуск, летние картузы на лопухих детских головенках, на кокардах и поясных бляхах — аббревиатура БМГ. У одного — очки с синими стеклами, глаз не разглядеть, но взгляд Щерба все же почувствовал: пыльный, ищущий. И возраста гимназист непонятного: и тринадцать можно дать ему, и пятнадцать, так сразу и не скажешь. Ездовые приостановились, разговаривали:

— Далеко? — спросил тот, что правил на север.

— К казакам, уговорились до Вешек.

— Чего ж не училось вам, сердяги? Родительские деньги ведь за вас плочены, — вставил Остатнийгрош.

— С Украины немец сунется, какая нынче учеба? — заступился за гимназистов их ездовой.

В небесах отдаленно пророкотало, черно-синяя хмарь выталкивала прочь голубое мирное море, отвоевывала себе пространство.

— Ох-ох, поспешать надо, а то непогодь... Ну, добрый путь! — отвесил с телеги полупоклон возница, державший северную сторону.

— И вам счастливо! — стегнул лошадку его знакомец.

Телеги разминулись. Щерба не смотрел на дорогу, следил за пахарем на горизонте, торопливо выпрягавшим лошадь из сохи, и боковым зрением видел, как со встречной телеги несколько раз обернулся гимназист в синих очках, пытливно изучал бывших фронтовиков, пытался их запомнить.

Версты не проехали — туча с пепельно-дымной оторочкой накрыла собою поле и шлях. Идеально круглая с близкого бока, она быстро распугивала крохотные облачка, не успевшие сбежать, — пожирала. Внутри нее сердито клокотало, сыпалось сверху недовольное ворчание.

— Гляди! — не своим голосом крикнул Остатнийгрош и выставил руку.

По темному от хмари полю плыл голубой, цвета молнии, шар. В нем играли сине-фиолетовые прожилки, потрескивало, как в костерке, изредка сыпало мелкими искрами.

— Замри, оглобля! — выругался Остатнийгрош на ездового. — Не пикни!

Возница натянул постромки, лошадка встала, но с ноги на ногу переминалась, трысла затянутой в хомут шеей.

— Под смерть подведет, скотина худая, — шипел сквозь зубы бывший фельдфебель.

Щерба оторвал взгляд от парящего шара, увидел встречную телегу, так же намертво вкопанную среди шляха. Голубой мяч уплывал вдаль, но меньше от этого не становился, хранил размер и форму, потом стал ускоряться, полетел ходко, наткнулся на что-то... Взорвалось, грохнуло, полетели снопом синие искры, вспышкой ослепило поле, людей и скотину. Щерба часто захлопал веками, а когда проморгался, парящего шара уже не было. Со всех концов поля бежали к тому месту, где ударило громом. Возница при молчаливом согласии своих попутчиков тоже лихо развернул оглобли, настегивал лошаденку.

Первым подскакал встречный ездовой. Он бегал вокруг лежавшего на земле хлебороба, черпал пригоршнями вспаханную землю, сыпал пышные комья на мертвеца, убитого грозой. У всаженного в дерн плуга катался по земле младший хлебороб, пытался скинуть с себя двух навалившихся гимназистов. Возница нагребал чернозем, суеверный страх гнал его, не давал стоять на месте — он кричал запаленно:

— Тикай! Не подходи! Не пускай его!

И все укрывал тело землей, веря, что она поглотит засевающую в убитом молнию. К нему поспешали другие пахари, тоже наворачивали землю на покойника, сбитыми голосами переговаривались:

— В маковку поцеловала...

— Пропасть недужная.

— То враг, чертова рука.

Сынишка пахаря затих в объятьях гимназистов, только плакал горько, перед лицом его лежал отцов картуз с прогоревшей и обугленной дыркой на темени. Третий гимназист стоял вкопанной среди шляха телегой. Глаза его больше не скрывались за синими стеклами, он впервые видел суровый почерк природы и осознал, что она может убивать.

Попутчики его встали с придавленного хлопца, тот вытирал черными от работы руками слезы по щекам. Один гимназист подошел к бездвижному другу, тряхнул его:

— Шелехов, ты живой?

Отмерший гимназист выронил очки на землю, переступил неуклюже ногами, сам же раздавил синие стекла.

ГЛАВА XXIII

Поезд Красного Креста второй день шел по Республике Советов. Вчера пересекли новую украинско-русскую границу. Никогда ее здесь не было. Была в этом месте граница польская, до нее была литовская, граница Великой Степи и Русского Леса, а чтоб украинская — впервые.

На станциях кипел солдатский галдеж, не могли его унять строго прохаживающиеся коменданты, закованные в жесткую черную кожу и слухи о зверских чрезвычайках:

— Три года за державу бился, большевики меня домой отпустили. Я к дому — там немцы! На черта мне такой мир? Женка, детишки, мать-старуха — все за кордоном теперь.

— С Петрограду еду, братья. Голод страшный, а Красная гвардия жирует, растет кажин день. Кто для них сеет, кто им пашаницу растит, ежели они все при оружии, а не в поле? И для чего их Троцкий держит? С немцами воевать они все одно не способные.

Настроения увечных офицеров в тот же день поменялось, в вагонах и переходах слышалось:

— Это какая-то поголовная проказа... но она не на теле у них, а в головах.

— Зачем, зачем все это? Зачем так много беспросветной бестолочи?

— Да бросьте вы! Еще день назад сами же утверждали, что большевики светлые головы и умнее их в свете нет.

— Радуюсь только одному... Что так быстро удалось мне прозреть...

Под вечер второго дня поезд задержали на небольшой станции, Датчанин и Цацкин принимали у себя местное начальство. Скоро весь персонал был в курсе: поезд изымается у Красного Креста в пользу Красной Армии. Даже Датчанин не в силах что-то сделать, его аргументы не действуют. Что будет с пассажирами — никого не волновало, их просто велели сгрузить на перрон, а ходячим предоставилась свобода передвижения — «помоги себе сам». С персоналом дело обстояло яснее, им предложили остаться на своих местах. Датчанин собирался ехать в столицу, жаловаться на местный произвол, Цацкин намерен был его сопровождать, половина сестер решили остаться с поездом, санитарки — поголовно. Остальные сестры разъезжались кто куда. Татьяна Варнак думала: ехать ли ей в Петроград, к родственникам, или пробираться на Кубань, к родителям? Остановилась все же на Петрограде, звала Викторию с собой.

Вика долго не могла решиться. Сложности российских путей-дорог открыто били в глаза, она не была уверена, что сможет доехать до дома даже с такой бойкой подругой, как Таня. Из неприятных прошлых дней все чаще выплывал Петр и перекрашивал прожитое в тихую грусть, уже не такую отвратную, какой она казалась Вике в минуты, когда муж ее был рядом. Она была почти уверена, что Петр уже вернулся в бабушкину квартиру и выбора пути теперь перед ней не стояло. Виктория только не знала, как технически это провернуть.

Поезд уходил на восток, его провожали десятки больных и раненых, в солдатской массе ревела острая брань, офицеры молча глядели в землю или яростно рвали большевистскую литературу, вывезенную из плена и лелеянную все это время. Вика не в силах была на это смотреть и просто выбежала на шпалы, двинулась пешком в ту сторону, откуда не так давно прибыл их поезд. Она услышала торопливый топот позади себя, не обернулась, лишь надбавила шагу.

— Виктория, подождите...

Это был худощавый поручик с заживленным следом от осколка, пролеглим через его щеку и шею. Левая рука на черной перевязи, одинокая награда с мечами на голубой колодке, поношенная одежда и разбитые сапоги — не один год в плену. Волнующийся, но твердый голос:

— Я ничего не требую от вас, лишь беспрекословно принять мою любую сильную помощь. Я намерен сопровождать вас, не откажите в компании.

— Вы даже не знаете, куда я иду.

— Это для меня не имеет значения.

— Я венчана.

— Вы оскорбляете меня, если считаете, что я для этого за вами увязался.

— Нет, я вовсе так не считаю, простите...

Вика торопливо протянула руку, стараясь загладить вину. Он поцеловал ей запястье, представился:

— Виктор Павлович Горский.

— Меня вы знаете, — легко присела Вика.

Она короткое время смотрела ему в глаза, пытаясь понять причину его помощи: благородство, влюбленность, альтруизм? Виктор Павлович, наклонившись, легко отобрал у нее ручку саквояжа с дежурным «вы позволите?» Она запротестовала, стала уверять, что ноша ее не тяжела, и еще про его больную руку напомнила, он зашагал по шпалам, полуобернувшись, спросил:

— Неплохо бы в начале пути узнать, какова его конечная цель.

— Я собираюсь обратно в Киев, — налегке догоняла Вика поручика.

— Прекрасно. Отчего не прогуляться нам обратно в этот светлый город?

Горский оказался хорошим собеседником, задавал тему, если видел, что Вика не отвечает, тут же обрывал ее, подбрасывал иной разговор. Коротко рассказал, что попал в плен в середине пятнадцатого, до войны изучал экономику, работал в торговой фирме. Стал развивать мысль, что Германию в нынешней войне не способно спасти даже чудо.

— Пока мы ехали по Украине, я многое успел заметить, хоть и кажется, что из вагонного окна угол обзора невелик. По мнению немцев, Скоропадский должен обеспечить их самые смелые продовольственные фантазии. Но тут возникает две проблемы: во-первых, власть гетмана фиктивна, его страна погружается в гражданскую войну, и, во-вторых, хлеба на Украине просто нет.

Вика удивленно посмотрела на Горского:

— Да что вы? Не заметили, как дела с продуктами там и здесь, когда мы переехали границу?

— Поверьте мне, Виктория, как человеку, съевшему собаку в этом деле, — спокойно говорил поручик. — До войны большая часть нашего товарного хлеба на внешние рынки поставлялась с Поволжья и Западной Сибири, а немцы оказались на Украине, где густота народа, где сельское перенаселение. Да еще в эпоху производственного упадка, политического хаоса и развала инфраструктуры. Тевтонам не помогут грубые реквизиции или попытки купить зерно золотом, и уж тем более — запугивание Скоропадского. Они от отчаяния убедили себя в существовании хлебного эльдорадо и... не нашли его. Огромную часть продуктов поглотят сотни тысяч оставленных для оккупационной службы солдат, в Германию доедут крохи. При всем при том еще ведь надо делиться с союзниками. Половину заберет себе Австро-Венгрия, вторую поделят между Болгарией и Османской империей. Ситуация в Болгарии мало чем отличается от того, что было у австрийцев, а турки пережили минувшей зимой полноценный голод, не хуже германского.

— И откуда ваши знания? — не скрывала удивления мадам Хвостова.

— В то время как мои товарищи разбирали брошюры большевиков, я шер-

стил местную прессу. Не все там изложено так открыто, как я вам передал, но умеющий читать между строк прочтет, — без лишней скромности заявил Горский.

До темноты они прошли довольно много. В сумерках услышали приглушенный собачий лай, рассмотрели за деревьями огни жилищ и сошли с рельс. У поручика оказалось немного денег, и их пустили на ночлег. Вика достала из саквояжа припасенных продуктов, Горский расспрашивал хозяина о ближайших селах и окрестных дорогах, за ужином поделился с ней своими планами:

— Я думаю, нам надо сойти с ветки. Если пойдем проселком — значительно среем, а шанс, что нас подсадят на проходящий поезд, очень мал.

— Как думаете, через сколько дней выйдем к границе?

Горский пробежал список с названиями местных сел и деревень, прикинул в уме, неуверенно выдал:

— Пару мест для ночлега еще предстоит нам найти. Может быть, к третьему дню выйдем к Украине, если немцы не начнут снова наступать и граница сама к нам не приблизится.

Им постелили в одной комнате. Горский забрал подушку и разложил шинель на узкий тканый половик, пожелал доброй ночи.

— Виктор Павлович, не спите? — спросила Вика в темноте.

Когда он ответил, задала еще вопрос:

— Что вы будете делать в Киеве?

— Останусь жить.

— Как же вы устроитесь?.. — чувствуя набегавшую тревогу, заволновалась Вика, подумав про себя: «Уж не хочет ли он в благодарность за услуги поселиться у меня?»

— Устроюсь как-нибудь в родном-то городе.

— Киев вам родной? — даже приподнялась с постели Вика. — Отчего ж вы не сошли в нем?

— Увидел вас.

Вика вспыхнула, хотела спросить что-то, но сдержалась, оборвала себя.

Они прошагали еще день, в пути Горский часто расспрашивал встречных. Местные мужики говорили, что границу перейти сложно: буржуев, что бегут из столиц, ловят на подходе патрули, обыскивают, вытряхивают все ценности, отправляют по тюрьмам.

Виктория, услышав эти вести, попыталась спрятать за наигранной беззаботностью свою тревогу:

— Нам такое не грозит, с нас и брать-то нечего.

Горский не стал ее обнадеживать, поделился своими думами:

— Я чувствую, тут дело не в том, сколько с нами денег. Здесь, скорее, другое. У большевиков директива: из страны никого не выпускать, а то ведь так все поразбегутся, некем будет управлять.

— Как это все чудовищно... мерзко, — Виктория чуть не вернула словцо повесистей, злоба ее распирала.

Истаявший день затихал, уходил за горизонт, самое время было искать очередное жилище. Вдали маячил густой лес, катился зелеными увалами по холмам. На опушке стояла усадьба или дом лесника, решили постучаться и заночевать. Ветерок от леса принес унылый коровий зов и запах печной сажи.

До усадьбы оставалось не больше полуверсты, когда Горский обернулся и прощел:

— А это еще что?

Виктория тоже оглянулась, увидела четырех пеших людей. Они быстро приближались, уже можно было различить на них армейскую форму: трое были в

немецких мундирах, четвертый — в зеленой гимнастерке, лаптях и посконных штанах, над головой качался тонкий штык, и плечо охватывал винтовочный ремень.

— Остановимся, пропустим их, — предупредил Горский.

Вика сошла с дороги в полевой бурьян, достала из саквояжа маленькую бутылку с водой, стала пить. Горский закурил, посматривал на приближавшихся людей. Парень с винтовкой был уже совсем рядом, вид имел заинтересованный, даже любопытный. С двадцати шагов закричал поручику:

— Здоров, дядя!

Горский длинно затынулся папиросой, ждал, когда подойдет парень, не хотел кричать в ответ, спокойно произнес:

— Здорово, молодец. Как служба?

Парняга сморкнулся на ходу, радостно хмыкнул, протянул руку:

— Да какая служба? Отвоялся.

Горский пожал протянутую руку и незаметно вытер свою ладонь о борт шинели. Парняга сбивал с ног своей открытостью:

— Веду вот немцев до дому. А вы не к границе часом?

Горский насторожился, вопрос проигнорировал, уцепился за пророненное откровение:

— То есть как это — домой? К себе домой?

— На черта они мне сдались, кормить их... у самого жопа паутиной поросла. К ним домой, они в экономии у нашего барина работали.

Горский еще раз сильно втянул в себя дым, с плохо скрытой лукавинкой спросил:

— Как же ты, братец, намерен их провести?

— Да просто очень, патрули ведь немцев не трогают.

Поручик начал понимать, но, чтобы убедиться до конца и себя не выдать, все же добавил:

— Так ведь ты не немец.

Парень молча стянул с плеча мешок, рассупонил его, вытащил серый германский китель, пехотную бескозырку кинул себе на темя и приплюснул сверху пятерней.

— Как? Сгодится? — сияло его довольное курносое лицо.

Горский давно все понял, но продолжал строить из себя дурака, сказал без уличения и воинственности:

— Так ты не конвоир вовсе?

Парень уныло оттопырил нижнюю губу, развел руками — увы. И тут стала понятна его внезапная откровенность:

— Айда-те с нами, дяденька. А то, боюсь, немчура меня нашему патрулю сдаст, скажут, что не ихний я. А так — вам винта отдам, и сестренка с нами, цельна делегация, мол, вы нас сопровождаете. Нам бы еще документ какой...

Виктория, в мужской разговор до этого не вступавшая, не сдержалась:

— А если нас распознают? Ты, милый друг, целеньким останешься, а нас арестуют.

— Если погорим, так все. Меня форма не уберезет, я по-немецки не бельмеса не смыслю, одинаково рискуем с вами.

Виктория выжидательно посмотрела на своего спутника, парень-конвоир ждал от него ответа, немцы тоже не спускали глаз с офицера, от которого теперь все зависело. Горский докурив папиросу, вместе с дымом выбросил бодрое:

— А что, давайте разыграем комедию. Только ты, братец, сразу в немецкое одевайся, привыкай. И оружие мне давай. Заряжено хоть?

Парень секунду колебался, потом протянул винтовку, словно винясь, выдал:

— Одна обойма только.

Он сомкнул зеленую гимнастерку и упрятал в мешок; не стесняясь Виктории, спустил посконные порты, влез в припасенную немецкую форму, но лаптей своих заменить ему было нечем. Горский осматривал оружие, вынимал патроны, щелкал затвором и спускал холостой курок. Между делом интересовался:

— А что за дом это? Ночлег мы в нем найдем?

— Я б не стал туда идти, там старик еще до войны помешался, одичал. А теперь кто его знает...

Горский снова снарядил оружие зарядами, удовлетворенно кивнул, сказал парню:

— Все же с нами дама, а вблизи жилья нет, не в лесу же нам становиться.

— Спробуй, дядя, попросись, тебя, может, этот дикой послушает.

Они остановились, не доходя ста саженей до усадьбы, дальше пошел один Горский. Собака давно лаяла, почуяв чужих, звенела цепью по длинной стальной проволоке, мотаясь вдоль забора. Горский пристально следил за окнами. На веранде откинулась форточка, показались сдвоенные стволы, из-за занавески и цветочных горшков сквозь песий лай прилетел вопрос:

— Кто такие?

— Нам бы переночевать, — не стал медлить с ответом Горский.

— Прочь! Стрелять буду!

— Мы не хотим вас...

— А чего с оружием? — перебил старческий, но все еще крепкий голос.

— Сами ведь знаете, без оружия в лес нельзя, — оставался миролюбивым Горский и махнул в сторону ближних деревьев.

— Будто спасет оно вас по нынешним временам? — голос уже не был таким враждебным.

— Но вы ведь на него полагаетесь, — доброжелательно кивнул Горский в сторону направленных на него спаренных стволов.

— Я-то дома, — в голосе, кажется, появилась капля сочувствия.

— Да, этим вы от нас отличаетесь, — ухватился Горский за новую мысль. — Позвольте и нам на одну ночь обрести кров, с нами хрупкая девушка, ей тяжело ночевать в поле.

За шторой, ветками столетника и фикуса послышалось внутреннее совещание. Наконец, голос цыкнул на собаку, затем ответил Горскому:

— В конюшню пойдете.

— Благодарим вас, — расплылся в улыбке Горский, уверенный, что за ним наблюдают.

— Обойдете забор справа, там калитка на скотный двор, я отопру ее через минуту. Раньше соваться не вздумайте. Увидите ворота в конюшню. Уговор: по двору не шастать, к дому не подходить.

— Мы все выполним, только заплатить у нас нечем.

— Если ничего у меня не уволочете, и на том спасибо.

Горский вернулся к своим спутникам, объяснил все на русском и на немецком. Пленные понимающе качали головами, приободрились, стали засыпать Горского вопросами. Он коротко отвечал им, потом оборвал, почти по-начальнически.

Выждали на всякий случай больше объявленного срока и прошли во двор. Конюшня давно пустовала, сено, лежавшее по углам, превратилось в труху, с балок свешивалась бахрома застарелой паутины, но запах конского навоза въелся в деревянные стены. Они сгребли остатки сена и укрыли лежбище шинелями, найденной рваной попоной и Викиным пальто. Горский смахнул с козырька фуражки налипший пласт пыльной паутины, коротко бросил парню:

— Курить только на улице. Сушь дикая.

На улице почти стемнело, из углов конюшни наполнила пока еще робкая мгла. Один из немцев уже через минуту храпел. В доме тихо скрипнула дверь, «конвоир» подскочил и прилип лицом к окошку. Горский мягко попросил его:

— Хозяин хочет остаться невидимым, не мешай ему.

Парню не нравилось, что им стали распоряжаться, но ссориться он не хотел, намеренно медленно покинул окно, снова улегся. Преданно заскулила собака, ей ответило ласковое бормотание, что-то полилось в неведомую посудину. Шаги слышались рядом с конюшней, парень напряженно дернулся к винтовке, Горский опередил его, наложил на приклад руку:

— Брось.

Шаги удалялись, простучали по крыльцу, снова скрипнула дверь в дом. Парень, не глядя на Горского, бросил: «До ветру я». Он вернулся быстро с ведром в руках и горстью сухарей в холстине.

— У меня нюх на такие вещи, — сиял он. — Разжалобила ты, сестрица, хозяина.

В посудине плескалось молоко, сухарей было ровно шесть штук. Разбудили закемаривших немцев, пили через край ведра, нахваливали хозяйскую милость. «Конвоир» снова стал разговорчив:

— До войны как жили, а? Горя не знали. Бывало, служит поп в Великий пост, приносят ему всякой вкусности, жертвуют, а ему и дела нету. Нахромит на вилку и говорит: «Прими, Господи, порося за карася», и жрет, кости поплевывает.

Горский медленно пережевывал сухарь, таил в уголках глаз улыбку:

— Это ты сам видел?

— Да не, от кухарки евоной слышал.

Виктория провела взглядом по неказистому лицу парня, по всей его простоватой фигуре, решила спросить:

— А идешь в чужой край зачем?

— В работники наниматься, на поденную, — со сладкой ностальгией в голосе вымолвил парень. — Молва идет, что с Москвы и Питера много богатеев успело на Украину сбегти, у них богатства — за всю жизнь не простеть. Так они у местных дачи наймают, скотину заводят, огородам живут, им работники до зарезу нужны.

Горский уже не справлялся с улыбкой, заполонившей глаза и губы его, скрадываемой одолевавшей округу ночной тьмой. Улыбка сквозила даже в голосе бывшего офицера:

— Как же ты бежишь от своей народной власти? Ведь ради тебя революцию делали.

— На черта мне такая власть, коли она меня прокормить не может, работы мне дать не может? Уж лучше я к этому, к буржую, эксплуататору, у него хоть похлебка... Эх, знать бы наперед, что дома така нужда, остаться зимой на Украине. В варте еще тогда хорошу деньгу ребята зашибали, с большевиками воювали...

— Языка не знаешь, оттого не остался? — невзначай спросил Горский.

— Да дело-то не в языке, при мне много брали безъязыких. В прозвании дело, фамилия моя русская, с такой в варту не попадешь.

Вика доела сухарь, легла близко к стене. С другого бока ее подпирал Горский, сухонький, небольшой и надежный, как каменный вал. В глубинах хозяйского двора лениво мыкнула корова, цепной пес, разбуженный ее кличем или иной приснившейся ему тревогой, отчаянно загавкал, но скоро сообразил, что на дворе мирная ночь и дом его хозяина стоит на краю тихого леса, всю жизнь здесь был покой, и только редкие шальные гости, вроде сегодняшних, забредали к хозяину, несли с собой чужие запахи, пыль дальних дорог и неуют неведомых жилищ.

Сквозь наплывавшую дрему Вика почувствовала кравшийся из-под ворот конюшни ночной холодок, она попыталась натянуть на плечо борт своего пальто, но ничего не вышло, на нем вповалку лежали два или три спящих. Девушка маши-

нально ухватила руку соседа и перекинула через себя. Рука вначале напряглась, потом нежно прижала Вику к себе, стало немного теплее и только теперь она осознала, что рука эта не принадлежит ее законному мужу. Но ей не хотелось, чтобы рука вернулась восвояси, а вот ждала ли она новых действий этой руки?

— Виктор Павлович, — прошептала Вика, — я хотела вам сказать...

Горский молчал, рука лишь напряглась, но не покидала плеч Вики.

Она внезапно передумала, испугалась назревшего вопроса и, чтобы заполнить паузу, сказала совсем об ином, незначительном, первом, что пришло в голову:

— Знаете, раньше, до того как попасть в лазарет, я видела на улицах инвалидов и всех их бесконечно жалела, они казались мне святыми... А теперь... я вижу, что рана и увечье не делают человека мучеником.

Он долго молчал, сбитый с толку ее рассуждениями, ведь внутренне наверняка готовился совсем к иному разговору. Потом прошептал:

— Есть мнение, будто война чистит, как щелоком. Все нажитые грехи смывает пролитая кровь: твоя, траченная в боях за Отечество, или вражеская, пущенная твоей рукой. Это неверно. Только новыми грехами обрастаешь, как коростой.

Вика представила, как рука, что ее обнимала, выпускала души из людей, коверкала девичьи и материнские судьбы. Вспомнила руки мужа, тоже способные нести смерть и наверняка ее не раз несущие. Она не содрогнулась под этой рукой, ей не захотелось ее тут же сбросить, но и чего-то большего от хозяина этой руки она уже не ждала.

Утром проснулись рано. Слышали шаги хозяина по двору и приглушенное стеном цвирканье молочных струй в подойник. Дождались, когда хозяин прошел обратно в дом, быстро собрались, подгоняя «конвоира», желавшего получить еще и на завтрак молока.

Бойко прошагали весь день, пронзили лес по наезженной дороге. Встречали крестьянские телеги с ряженными во все простенькое людьми. Из-под бабьего платка то и дело мелькало породистое строгое лицо, а из-под соломенных шляп поблескивали пенсне или топорщилась академическая борода. К вечеру появилась избушка пограничного кордона, полосатый шлагбаум и красное знамя на высоком флагштоке. Через десяток метров дорогу перегородила еще одна перекладина, выкрашенная в иные цвета, и солдаты в чужой форме охраняли ее. На самом кордоне кроме охраны никого не было, но катились из окрестностей телеги, подгоняемые конными развездами, а с телег поблескивали пенсне, топорщились бородаки. Все имущество телег сгружалось на кордоне, едущих тщательно обыскивали, иногда, если документы были в порядке и присутствовала украинская виза, пропускали к соседнему шлагбауму, чаще — конвоировали в ближайший городской исполком.

Виктория, Горский и их «пленные» остановились у первого шлагбаума, медленно стали доставать свои документы. Немцы по ту сторону границы были рядом (Вика различала их разговор), стояли кружком, на очередных беженцев не смотрели, травили анекдоты:

— Валтасар последним входит в пещеру и бьется головой о низкую притолоку. «Господи, Иисусе Христе!» — кричит он от злости и обиды. Иосиф говорит Марии: «Ну, вот же — хорошее имя, а ты хотела назвать Его Вилли».

Немецкие пограничники захохотали, один увидел подошедших пленных и толкнул остальных, указывая на них. В этот момент Горский незаметно мигнул одному из своих спутников, давая путь недавней договоренности.

— Мы идем домой. Вы нас не держать, — смело заявил один из «пленных» советскому патрулю.

— А мы обязаны сопроводить их и передать с рук на руки, — вежливо добавил Горский.

Шесте советских пограничников быстро вернули Виктории и Горскому документы, так и не успев в них разобраться. Из сторожки появился новый человек: потертая серая кожанка, шахтерская кепка клиньями, небольшой алый бант в петлице.

— Подождите секунду! — бросил он, мигом очутившись рядом.

Вика почувяла недоброе, ноги ее почти подкосились, близкие лица немецких пограничников расплылись, и даже голоса говоривших рядом стали глуше.

— Вы что за организация? — спросил человек с бантом у Виктории и Горского одновременно.

— Красный Крест, — тут же кивнул Горский на рукавную повязку сестры милосердия.

— Зачем им оружие, товарищ комиссар? — подсказал один из пограничников.

Комиссар не стал повторять вопроса, лишь пристальней взгляделся в «пленных». Парень-«конвоир» заметно нервничал, переминался с ноги на ногу, пару раз шмыгнул носом. Вика вспомнила, как наставляла его перед походом: «На границе прикинься контуженным, ничего не отвечай. Кто ни спросит, наши или немцы, — молчи. Мы сами за тебя все скажем».

Он молчал долго, у немцев послышались недовольные крики, смысл которых Виктория теперь не могла полностью различать, но тон их был любому понятен. Один из немцев сбегал за своим начальством, появился лейтенант в каскетке со шпилем, закричал на довольно сносном русском:

— Пропустить германский гражданин! Ви не имеете права задерживать!

«Конвоир» вконец раздергался, видел, что ссание близко и не желал больше молчать, присаняся, выпалил тарабарщину:

— Варум зи битте?

Уголки комиссарских губ дрогнули, он едва подавил смех, подобие жалости мелькнуло в его умных глазах. Комиссар кивнул своим людям:

— Поднимите шлагбаум.

Вика встретилась с ним взглядом, молча поблагодарила, комиссар отвернулся. Противоположный шлагбаум распахнулся, пограничники распялили объятья, Вика снова различала их иностранную речь:

— Откуда вы, братья? Из каких мест-земель? Баварцы есть?

Их «пленные» бурно наперебой отвечали, и в этом потоке слов им в спину прилетело комиссарское, тоже сказанное на немецком:

— Счастливого пути. Скоро немцы уйдут с Украины, не забывайте это.

ГЛАВА XXIV

В ночь с одиннадцатого на двенадцатое мая богучарцы выбили немцев из Смаглевки. На руку партизанам была темнота и разгулявшееся ненастье с ветром и холодным дождем. Патрули немецкие в хатах от непогоды не прятались, встретили наступавших залпом, пустили в мокрое небо ракеты. Смаглевские мужики тоже не дремали, когда загремело на околице, из тайников вытряхнулись смазанные ружейным маслом стволы. У кого припасенного огнестрела не оказалось — схватились за свиноколы, домашние вилы да топоры. В тылу у немцев разгорелась резня. Кто успел бежать из ночного боя, остановился только в Кантемировке.

Немцы начали понимать: против них не простая партизанщина — выкладывается полноценный народный фронт. Гарнизоны пришельцев стали усиливаться, дальние хутора и деревеньки оставляли, плотнее прижимались к железнодорожной ветке, где была их сила, резервы, подкрепления. Богучарцы обступали Кантемировку по кривой дуге, с северо-востока на юго-запад вырисовывался фронт,

линия тянулась через села Голое, Смаглеевка, Новопавловка, Зайцевка, Гартмашевка.

Богучарский отряд каждодневно рос, шли из окрестностей, а в освобожденных местностях поступали в дружину поголовно. Жаловались бывшие фронтовики:

— В окопах нам толковали, что немец — брат, трудяга, хлебороб, до нашей земли и до нашего хлеба ему дела нету, его фабрикант на войну гонит, а, выходит, и он на дармовщину любитель. Хлеба нашего не сеял, не убирал, а к ссылке лапу тянет. Рубанем его по лапе, нехай на паперти с культей скребется.

К середине мая отряд разбух, требовал нового строя. Командование его поделило на два батальона, в каждом по три роты, а в них по двести пятьдесят штыков. Фронт расцепили на участки обороны: Таловский, нависший на Кантемировку с севера, и Титаревский, смотревший строго с востока. Из Воронежа прислали Кексгольмский полк, не расформированный большевиками после развала армии, а пополненный людьми из других рассыпанных полков. А еще пришла обещанная Интернациональная бригада. Пополнение пришло с добрыми вестями: Россось немцы оставили, только три дня там простояли, к Евстратовке опять бронепоезд курсирует, Богучарский отряд надавит — зажмут немца с двух сторон и очистят Кантемировку.

Петр со своим взводом попал на Титаревский участок. Туда же перекинули интернационалистов. Богучарцы встречали их криками, потрясанием оружия, подкинутой в воздух шапками. Международный пестрый отряд шел под немецкий строевой счет: «Links, zwei, drei, vier³...», его солдаты, польщенные горячей встречей, улыбались. Хвостов без труда узнал во всаднике-командире отряда бывшего чешского легионера, встреченного им в прошлом году в Тарнополе. Он и имя его вспомнил — Карел Кучера. Тогда чех был в компании разговорчивого Ярослава и в основном молчал. У Петра было секундное желание подойти к Карелу и напомнить об их знакомстве, но он его подавил. Петр не был уверен: помнит ли Кучера прапорщика Хвостова, да и не хотел перед людьми из своего взвода, знавшими его как Максима Гадюкина, называться иным именем.

Несколько дней стояло затишье, богучарцы пока не наступали, завели по старому образцу проведение занятий, обучали молодых штыковому бою, редко (из-за нехватки патронов) упражнялись в стрельбе. На немецкой стороне тоже постреливали, но не в сторону врага, а у себя в тылу. Богучарцы гадали: «Опять немец народ казнит или учения затеял, как у нас?»

Петра вызвал к себе ротный командир, с порога озадачил:

— В разведку ходить доводилось? Поспрошай у себя во взводе местных, кто тайные тропы знает, собери охотников человека четыре, сходи с ними в секрет, пригляди за врагом.

Добровольцев нашлось пятеро: Дудник, Червонный, двое земляков-таежников и местный, божившийся, что каждую кочку в округе на ощупь определит, фамилия ему была Гетман.

Вышли из лагеря перед зарей. Гарцевали в садах сверчки, раскручивал каральную трещотку соловей. Росой вымочило ветхую обувь и босые ступни партизан. Гетман долго водил их балками и оврагами, петлял, в одном месте отряд их перебежал грунтовый большак. Утреннюю тишь разрезал паровозный гудок, близкий и внезапный. Один из таежников схватил Гетмана за шиворот:

— Ты что, шкура, сдаешь нас?

— У него и прозвание на германский лад! — напустился второй таежник.

Гетман такого оборота не ожидал, с лица потускнел, усы подковкой повисли

³ Лево́й, два, три, четы́ре (*нем.*).

уныло вдоль губ. Петр не успел что-либо сказать, вступились за Гетмана его земляки:

— Оборви клешни, чалдон еловый! Какие среди нас немцы?

Выстрелы посыпались перебранкой, вразнойбой. Гетман завел разведчиков в колючий терновник, закивал Петру радостно — все получится. Он полз первым, срезал трофейным штыком в густых зарослях ветки, когда из тьмы непролазной вспархивала птица — замирал, недолго выжидал. В хитросплетенном жгуте кустов и веток торчали высохшие и побелевшие лосиные рога — ветвистая корона на одиноком черенке. Позади Хвостова тихо поругивался Дудник — то ли на Гетмана, то ли на оккупантов:

— В самый чагарник⁴ нас завел, от же ж «немец».

Впереди замаячил свет, терновник кончался. Гетман обернулся и сделал напрасный знак: тишина. Все и так все понимали, замолчал даже недовольный Дудник. Петр выполз к окраине терновника, примял траву, очищая обзор. Разведчики его рассеялись веером по опушке, лежали в шаге друг от друга. Перед ними распахнулась горловина широкого ярка. У дальней стенки оврага росла старая груша-дичка, на корявой нижней ветке ее покачивался покойник на веревке. Метров за двести от груши лежали цепочкой с десятков немцев, ждали, когда труп замрет, и снова поочередно стреляли. Пули врезались в стенку оврага, выбивали рыжие фонтаны, когда натыкались на «мишень», отзывались в немцах одобрением. Скоро принесли и установили пулемет, долго ладили его, заряжали, стали пристреливать. «Мишень» завращалась юлой, потом и вовсе с перебитой веревкой свалилась на землю. Червонный плюнул злой слюной. Остальные бойцы сдержались, тихой бранью не откликнулись, со взмахом командира по-рачьи отползли обратно в заросли.

На доклад Хвостова командир роты ответил:

— Сволочи, что с них взять... У нас в Кантемировке двое людей для работы осталось, Прокопенко от них весточки изредка получает. В общем, со дня на день надо ждать наступления.

Немцы ударили на обоих направлениях, шли колоннами по Таловскому и Титаревскому большакам. Артиллерии у них было в избытке, а у партизан на хуторе Петропавловка — один пушечный ствол. Оружие это германская батарея подбила в самом начале боя, и богучарцы утратили выдержку, стали отползать с рубежей. Их еще останавливала стойкость интернационалистов, окрики командиров и старых фронтовиков. Когда немцы обошли взвод Бондарева и поголовно его перекололи штыками, среди партизан пошла гулять паника. Слепо и бестолково отстреливаясь на ходу, они бежали скопом, во весь рост, не пригибаясь.

Так была оставлена в это утро Зайцевка. Рядом с Петром отходили Червонный и Дудник, Веремеев и Гетман, бывший студент Лев и земляки-таежники. В поле за селом Хвостов увидел, как текут им наперерез серо-зеленые колонны в стальных темных шлемах, как кроет по кучкам бегущих партизан выставленная на большаке германская батарея.

Заваленная комьями свежей земли, в агонии билась пегая кобыла из обоза, тут же лежал мертвый ездовой, кособочилась вдребезги разбитая телега. Петр на бегу взглядел валяющийся кверху ножками немецкий пулемет. Он принялся переворачивать и настраивать оружие.

Червонный отыскал среди травы ленту с патронами, заправил в казенник. Он перевернул пулемет с боку на бок, бегло оглядел его, послушал, как колышется вода в пробитом кожухе, отыскал глазами на поясе Дудника фляжку и жадно схватился за нее.

⁴ Дебри (*суржик*).

— Там винцо домашнее, Никола! — не желал расставаться с фляжкой хозяин.

— Снимай, чертова сволочь! Пропадем за твое вино! — рвал посудину вместе с поясом Червонный.

Дудник сам отвернул на манерке крышку, перевернул забулькавшее горлышко над прорехой в кожухе пулемета, слушал, как утекает вино, и подбадривал сам себя:

— Сейчас мы немчуру грабельками проредим!

Потом, улегшись, попросил:

— Командуй, товарищ Гадюкин!

Петр сдернул с плеча винтовку, на бойцов своих не смотрел, выскивал себе жертву и с накапавшей твердостью в голосе призывал:

— Бить прицельно и метко. По сигналу пулеметчика, не раньше. Пулеметчик, как будешь готов — начинай.

Червонный, уже давно готовый, в ту же секунду дал очередь из пулемета. Сквозь его нечастую, дельную частушку лопались выстрелы карабинов.

Наступавшая колонна противника, сильно прореженная, стала откатываться, из неведомого оврага выскочили интернационалисты, в штывки бросились на другой немецкий отряд. Веремеев радостно сорвал с себя солдатскую папаху. Червонный достреливал вторую ленту вслед уходившему врагу. Дудник остановил его, снова наклонился над дырявым кожухом, взмахом накинул себе в лицо дух из закипавшего ствола, словно парок в бане. Запынеть от такого невозможно, но Дудника пьянила победа, на радостях он кричал:

— А вот кому кипяточку? Кому чаек разбавить?

Немецкий наскок удалось отбить и свое бегство перевернуть на рельсы хладнокровного отступления. Партизаны отошли после жестокого боя на Таловском участке, и обе схватки не последнюю роль сыграли в скорых переговорах. Германское командование в этих боях убедилось, что пора остановиться и обозначить границы на Воронежском направлении.

Дымила, подпаливая пятки оккупантам, занятая ими земля: на станции Лихой в одну прекрасную ночь взлетели на воздух 120 вагонов со снарядами.

Через голову богучарцев, этих «мужиков», с которыми немцы не желали иметь дело, немцы предложили начальнику Южного боевого участка А.В. Павлову заключить перемирие. Спустя неделю на станцию Евстратовка явился советский бронепоезд с делегатами. От Кексгольмского полка присутствовал начальник штаба Качалов, от интернационалистов — Карел Кучера, от богучарцев — штабист Малаховский и командир бронепоезда — Яицкий. Под охраной уланской сотни, двух броневиков и роты баварцев на станцию явился ротмистр Бартке. С начала переговоров и до их окончания над бронепоездом кружил немецкий аэроплан, ждал подвоха от русских или тайного сигнала от своих.

По итогам встречи в Москву улетела телеграмма:

«Мы, представители королевской 22-й прусской кавалерийской бригады и русских республиканских войск, составляем настоящий договор о том, что с 12 часов ночи 28 мая 1918 года императорские германские войска и русские республиканские войска на участке фронта от сел Марковка до местечка Богучара всякие военные действия прекращают.»

Представитель 22-й кавалерийской бригады ротмистр Александр Бартке.

Представители командующего Курско-Воронежского фронта тт. Яицкий и Кучеров».

Благодаря богучарским партизанам граница с Украиной пролегла именно на том месте, а не на сотню верст севернее — по крутому донскому берегу, по берегам рек Подгорной, Толучеевки и Потудани, как этого хотели немцы.

Щерба в гостях у своего бывшего начальства отъедался и отсыпался.

Хозяйство Остатнийгрош застал почти не покачнувшимся. Престарелый, но еще крепкий отец фельдфебеля управлялся с нивой, успевал держать в уходе небольшую пасеку, жена и трое разновозрастных дочек ворочали дома. Доились обе коровы, подрастала телушка, толокся и валял рогами тесный котух бугай-двухлеток, Остатнийгрош наметил резать его в осенний мясоед. Схватился за работу фельдфебель наскучившими руками, нырнул в дела и заботы. Щерба ел сметану с сушеной вишней, баловался чаем вприкуску с домашним бурсаком, мастикой клал на него слой прошлогоднего затвердевшего меда, днями валялся под зацветавшей яблоней в саду, тонул в аромате и пчелином гуле. Слышал, как любопытно переговариваются младшие дочери хозяина, издали наблюдавшие за ним. Знал, что отец наказал им гостя не тревожить и с дурачками расспросами не приставать.

Один раз только попросил Алексей у хозяина достать ему мелкозернистый напилоч для заточки рыболовных крючков и пассатижи. Потом целый день вжикал под яблоней этот напилоч, Щерба тщательно дул на изделие, крутил на солнце и снова подтачивал. Жил бирюком, за ворота не выходил, хотя дважды звала его на посиделки старшая дочь Остатнийгроша и жаловалась, что подружки ругают ее, мол, не делится женихом: «А нам бы тилько глазочком глянуть, бо вже свои парубки остогадили⁵». Щерба и сам слышал, как ходит под окнами девичья компания, звонко поет песни, подолгу стоит напротив двора.

От сытой и ленивой жизни он быстро наел румяное лицо, однажды, умываясь поутру, не узнал в осколке зеркала свою заспанную ряшку. Он снова ушел в сад, не приходил к обеду и ужину, на крики и приглашения дочек не отзывался. Хозяин дома к вечеру вернулся от трудов, пришел в сад один, сел на одеяло рядом со Щербой, ласково заговорил:

— Ты не хворый, Лексей Дмитрич? Баба моя и девки волнуются: чего снедать не идешь. Может,стряпня не по вкусу...

— Нет, что ты, — с ленцой отозвался Щерба, — проси прощения от меня перед хозяйкой, кухня у нее сладкая. Это я так... Что слышно? Есть новости в округе?

Остатнийгрош ответил сразу:

— Немец прет, все земли ему мало. В Богучаре, говорят, отряд собирается, охотники добровольно идут, обороняться намерены.

Щерба приподнял голову от подушки, в глазах тускло мелькнули раздуваемые внутренними мехами огоньки. Он сгрел в горсть угол цветастого одеяла, не глядя на Остатнийгроша, спросил:

— А ты сам не думал пойти?

Бывший фельдфебель с ужасом увидел в распахнутом ворота Алексея вместо креста отутюженный почти до блеска наконечник стрелы на цепочке. Он долго молчал, взял на палец опавший с яблоневого цветка жухлый лепесток, поднес к глазам, сказал отстраненно:

— Бабка-покойница говорила — то ангелы небесную рыбу чистят и шелуху на нас сверху сыплют.

Алексей его больше ни о чем не спрашивал. Вечером наказал, чтоб хозяйка приготовила продуктов в дорогу, поинтересовался, в какой стороне лежит Богучар. Остатнийгрош его не отговаривал, вразумлениями не надоедал. Щерба и сам видел, что стал в тягость. Не о таком зяте мечтал бывший фельдфебель, ему в доме нужен рабочий горб, узловатая грубая рука.

Путь Алексея лежал через Павловск, и туда он добрался на второй день. Город

⁵ Надоели (*суржик*).

стоял притихший, будто вымерший, улыцы пустые. Ветром полоскало алые знамена, шелестела чешуя воззваний на заборах и столбах. Щерба вышел на окраину, долго топтался у придорожного трактира. На ступенях показался седенький мужичок в неухоженной бороде, ласково позвал внутрь:

— Заходи, солдатик. У меня самовар разогретый, хлебнешь, ногам покою дашь.

Щерба переступил порог трактира, неторопливо оглядел полутемную его внутренность, опустился за ближний к двери стол. Рядом заседала ватага местных крестьян, пьяно спорила, на вошедшего не обратила внимания. Еще был одинокий странник, такой же настороженный, как и сам Щерба. Он грел настуженные холодным майским ветром руки о стакан с чаем. Лицо его было изъедено лунками, слишком крупными для оспин, не похожими на застарелые язвы.

Трактирщик принес и поставил Алексею прибор на блюде, гостеприимно махнул полотенцем по крышке стола. Новый гость отхлебнул, прислушался к крестьянскому гомону:

— Ремпель сбежал, Кибур следком. Одинцовская родня — еще по зиме.

— Понятное дело: у Ремпеля мельню паровую отобрали, чего ему ждать, пока голову сымут?

— А Кибур, слышь, мужики мне говорили, с того в нашу веру крестился, что за кредитом к отцу Иоанну пошел. Тот ему денег на фильму-театр отсыпал, а сам велел жидовскую свою суть покинуть.

— Кабы только это. Кибур ему половину выручки с театра отдавал, пока Иоанн по пьянке не помер.

— У Ремпеля — мельню, у Нарцева — парходство, у Кибура — «Иллюзион».

— Да, что за место было, — с сожалением уронил простоватый на вид крестьянин. — Приедешь, бывало, в базарный день, расторгнешься и фильмой себя побалуешь. Внутри красота: пол под кафелем, картины, в зеркалах блестит, огнем горит. Швейцар при входе в пижмаке блескучем, ляврейном. На черта его закрыли?

— Погоди, откроют еще, дай делу нашему устаканиться, власти новой себя развернуть.

— Власть-то наша, да владыкают ею обормоты прибудные. Уже сколь отрядов прошло? Винницкий, Тираспольский, Нехаенский...

Крестьяне отчаянно спорили, без оглядки на двери и незнакомцев, вокруг не смотрели и языков не прикусывали, страх еще не поселился в них. За гомоном Щерба не заметил, как к его столику подошел странник с изуродованным лицом:

— Позволите присесть?

Алексей откинулся на спинку скрипнувшего стула, потянул за собой почти порожний стакан, кивком разрешил просьбу. Незнакомец был в толстовке и василькового цвета косоворотке, синих диагоналевых брюках, штанины которых уходили в высокие хромовые голенища. Он протянул ладонь:

— Платон Ставров. Вы, часом, не в сторону Богучара?

Щерба представился, не стал скрывать от гостя своего маршрута.

— Я тоже туда. Вы не будете против компании? — любезно улыбнулся Ставров.

— Только если перестанешь мне выкаты, — сурово бросил Щерба.

Они вышли из трактира через короткое время, по старому губернскому шляху легли в пыль две пары следов. Ставров говорил коротко, по делу. Скоро Щерба знал, что спутник его всю зиму с длинными остановками идет из далекой волжской губернии, что ничего у него позади не осталось, только пепелище и могилы родителей. В конце Ставров признался:

— Ведь я, друг Алексей, не в Богучар иду.

— Это я уже понял.

— Ты-то понял, а я еще не пойму: со мной ты или как?

«Мятежный Дон дальше Богучара, — рассуждал Щерба, — а покой я обретаю только в дороге».

— Вот тебе моя рука.

— Ну и славно! — кивнул Ставров, пожимая протянутую руку.

Щерба подумал еще: «Что-то я как тюлевая занавеска: куда ветер, туда и прогибаюсь», — но мысль эту отогнал, решения не изменил.

— Слышал, убили Рузского? — болтал Ставров или искал новых мотивов в душе Щербы.

— Да, приходилось слышать, когда ехал через Кавказ. Его ведь там зарубили?

— Как быстро предатели стали получать по заслугам, — неистово сжал Ставров побелевший кулак. — Всех настигнет кара, всех, кто терзал и разворочал страну. И Этих, что сейчас при власти, их тоже, рано или поздно. И Крыленко, и Зиновьева, и Троцкого — никто своей смертью в постели не умрет.

Щерба на ходу издевательски улыбнулся:

— Тогда и Николая надо, чтоб по справедливости. Зачем он от власти так легко отказался?

— О, не волнуйся, Романов-Тряпкин свое получит раньше других, — совсем не смутился Ставров.

Щерба внимательней уставился себе под ноги. Этот Ставров был не так прост: или не поддавался на провокации, или успешно маскировал свое нутро.

ГЛАВА XXVI

Сертификаты о противотифозных прививках, поставленных Виктории и Горскому еще в санитарном поезде, помогли им миновать немецкий карантин. Пряча документы в карман, Виктор Павлович заметил:

— Боятся заразных болезней, лучше бы остерегались большевистской бациллы.

Вокруг расстилался благодатный край, обетованная земля с налаженной торговлей. Где Горский находил деньги на билеты, еду и ночлег, какие для этого изыскивал способы, Вика не знала. Он часто пропадал на полдня в местечках и на крупных станциях, приносил новости и продукты.

За несколько дней, что они были вне Украины, местность эта успела преобразиться. В городах снова работали учебные заведения, открылись банки, кредитные и ссудно-сберегательные товарищества, были созданы союзы потребителей и комиссии по борьбе со спекуляцией, процветала торговля на полустанках, работали предприятия. Из привокзальных городских парков долетали мелодии оркестров, нарядные женщины гуляли по улицам. Трактиры на шоссе дорог и буфеты на станциях под завязку набивались прибывавшей из России оголодавшей публикой. По вечерам над сельскими просторами несли благовест. С каждой верстой Виктории казалось, что снова к ней возвращается умиротворение.

И даже народились политические разговоры — маятник материальных благ. Не очень громко, но все же без оглядки на дежурившего у дверей шуцмана в вагоне слышалось:

— Скоропадский — факир на час. Извините за каламбур, но он со своей говорящей фамилией скоро падет.

— История ходит по кругу, господа. Хочу напомнить, что сразу после предателя-Мазепы украинским гетманом был избран Иван Ильич Скоропадский, вполне возможно, далекий предок нынешнего украинского гетмана. Но разве история после этого не ироничная проказница?

Прибывавшие из России быстро отъедались, забывали вчерашний день как ночной кошмар и, кивая на желто-голубые стяги с дежурившим у здания городской ратуши шуцманом, злорадствовали:

— Хай живь Украина, аж с Києва, аж с Києва и до Берлина.

На станциях Вику поражала новая орфография. Наскоро приколоченные украинские надписи казались произведениями развеселого анекдотца. И не ей одной, в соседнем купе обсуждали то же самое:

— Этот язык мало пригоден для официального применения, как русский народный, скажем. Разве у нас вывешивают: «Не при без доклада»? Или: «Здесь тары-бары разводить запрещается».

— Да, а в вагоне, например: «Не высовывай морду».

— А вот вам еще история. В украинском министерстве пишут бумагу на привычном русском языке. Потом ее переводят на украинский язык в особом переводном отделе и направляют по адресу другого министерства. Там, получив, сначала отправляют бумагу в переводной отдел. Ее снова перекладывают на русский язык, и тогда уже чины министерства начинают вникать в бумагу. Иногда от двойного перевода бумага до того делается невразумительной, что чиновник самолично едет в соседнее министерство и озабоченно спрашивает: «Скажите, пожалуйста, что такое вы тут написали?»

Помимо благовеста по улицам украинских городов неслись гордые песни заводателей. Гарцевали иноходью гусарские пикеты и стояли на перекрестках словно вылитые из меди упитанные на здешнем хлебе саксонцы, баварцы, голштинцы, поражавшие своей дисциплиной. Командованием не возбранялось отправлять на родину почтовые посылки: три килограмма в неделю. Немцы без сожаления тратили деньги в надежде прокормить своих домашних, расплачивались марками, ведь население принимало их охотнее ходивших здесь карбованцев.

Горский делился с Викторией не только едой:

— В Луганске немцев встречали хлебом-солью местная буржуазия и гласные городской Думы. На митингах возмущались о доведенных большевиками до разрухи и безработицы временах. Первого мая была манифестация ко дню трудящихся. Колонны шли с украинскими флагами. Я вижу, немцы заигрывают со всеми. Посадили в Киеве гетмана, явно рассчитывая на помощь монархистов, при этом разрешают социалистические праздники и дают волю националистам. Гетман объявил о создании Русского Союза, то есть против украинства. Как это все может уместиться в рамках одной страны — мне пока непонятно.

— Стремление всем угодить чревато одиночеством, — коротко заметила Вика.

— И еще новость: похоже, Германия и новое правительство России теперь действительно союзники. Через Лихую идут цистерны бакинской нефти на запад, а на восток — эшелоны донбасского угля. Птички спелись, и не успела затихнуть стрельба, как они торгуют меж собой.

Вика смотрела на Горского новым оценивающим взглядом: «А ведь он в подпольной организации. И, подобно Петру, намерен сопротивляться, бороться, побеждать. Может, он вовсе и не киевлянин? Ему удобно ехать со мной по приказу своей партийной ячейки». Она грустно улыбнулась своим мыслям, перевела взгляд к окну. Горский приостановил рассказ, почувствовав ее отстраненность, робко спросил:

— Я утомил вас, Виктория?

— Нет, что вы, Виктор Павлович, — улыбнулась Хвостова. — Просто...

Она пыталась найти ответ за окнами вагона. Там фланировали офицеры в блестящих формах всех рангов и родов оружия, переходили из станционного буфета в ресторан, громко смеялись. Вика обернула лицо к его потертому мундиру:

— Мне обидно за вас... Если бы все, как вы... Так же преданно...

Горский поверил ей; явно польщенный, он смутился и пришел сам себе на помощь новым потоком добытых сведений:

— С деревней дело хуже. Огромная часть земель осталась не засеяна. Генерал Эйхгорн выпустил приказ о принудительном засеивании полей: крестьянских и поме-

щичьих. И все это силами деревни. Земельные комитеты распущены, собственность на землю восстановлена, и вновь узаконено сохранение больших поместий. Крестьяне теперь в положении сельскохозяйственных рабочих, получающих за работу треть урожая.

Поезд их тронулся, покатались мимо станционные службы и гулявшие у вокзала люди, оборвалась надстройка перрона. За окном поплыли сады, крохотные наделы при хатках, зеленевшие июньскими всходами.

— Мне кажется, кто попробовал вольной жизни — к ошейнику уже не вернется, — проявляя участливость, заметила Вика.

— Именно так! — согласился Горский, довольный тем, что она внимательно его слушает. — Крестьяне встали на дыбы. Повсюду восстания, снова пылают имена по всей Украине...

По обе стороны от поезда тянулось поле, крепкой щеткой лохматились на нем озимые. Воздух напитала дымка, с каждой минутой превращаясь в клочья смога.

— Смотрите! — прервала его Виктория.

В полуверсте от путей пылала деревенька. Шеренгами на ее околице стояли войска. Даже издали было видно, что солдаты обременены всякого рода скарбом, в стороне конный патруль уланов охранял коровье стадо. Бугор на отшибе венчал крест мельницы. На каждом крыле болталось по висельнику. Лопаста ветряка вращались, гонимые меж ними клубы черного дыма прятали казенных. Они уплывали на своей «карусели» в туман, пропадали там и вновь появлялись.

Поезд проехал мимо деревни за полминуты, и снова сияло чистое небо в окнах, и стелилась до горизонта милая глазу засеянная нива. Даже след от пожара исчез, ветром его сгоняло на другую сторону.

— Как во сне... Или дурном синематографе, — молвила Хвостова.

Долгожданный Киев встретил их воробьиным щебетом, городской суетой, умытыми окнами вокзала и яркими бликами в них. И здесь бросался в глаза перегруженный снедью мир. Из всех окон валил вкусный пар и чад. Магазины были набиты окороками, колбасами, индюками, фаршированными поросятами. По улицам скакали уланы с черно-красными флажками на пиках. Студенты спешили в аудитории, телеграфисты и клерки — к местам службы. Расхваливали торговки свою продукцию на перекрестках и привокзальных рынках, звенел по Хрещатику трамвай.

Хотя вещей у Вики было немного, Горский предложил свою помощь:

— Извините, к себе не приглашаю, но до вашего дома доставку обеспечу.

— Ой, к самому порогу не нужно... Вдруг увидит бабушка.

И еще подумала Вика: «Никакого дома у него нет, а есть конспиративная квартира».

Они уже были на Подоле, и до прощания оставалось совсем близко. Со стороны Печерска докатился небесный гром. Под ногами качнулась земля, и налетевшим порывом ветра захлопнуло форточку в соседнем окне. Двое прохожих, шедших навстречу Вике и Горскому, приостановились:

— Неужто опять большевики подступают?

Один из путников спросил у Горского:

— Господин офицер, не подскажите причину шума? Маневры, очевидно, близ города?

— Нет, на орудие не похоже, — скорее себе и Вике, чем прохожему пояснил Виктор Павлович. — Где-то на Лысой Горе, а там склады...

Вторая волна ударом пронеслась через Печерск, разбилась о Подол и Хрещатик. Улицы брызнули вылетевшими стеклами. Вика почувствовала, как земля задрожала под ногами, и лишилась на время чувств. Когда она открыла глаза, улицу

усеивало толченное стекло. Одни люди лежали без сознания, другие, сбитые с ног, сидя и лежа вопили. Кто-то бежал опрометью, не помня себя. Торговка со съехавшим на сторону платком, не вставая с колен, крестилась и голосила:

— Рятуйте! Конэць свиту!

Дама с зажатым под мышкой тюлевым зонтиком, измятым от падения, билась в истерике:

— Мишель, это землетрясение! Нам не выжить!

Муж ее бинтовал платком разрезанную руку, успокаивать свою жену не пытался, у ног его доходила в агонии собачка на поводке, зарезанная выбитым стеклом.

В воздухе висела пыль от опрокинутой со стен штукатурки, изредка падали и крошили стекло распатанные кирпичи фронтонов, скрипела хликая дверь, норовя окончательно сорваться с петель. Внизу улицы на перекрестке замер трамвай, выпуская через двери ополоумевшую от страха публику. Небольшого роста пожилой господин запахивал уцелевшие жалюзи перед лишенным стеклом входом магазина с вывеской «Цудечкис и партнеры».

Горский, прикрывая новый кровоточащий шрам на лице, наклонясь к Вике, тряс ее за плечо:

— Вы живы?.. Виктория... Вы...

— У вас кровь, Виктор Павлович, позвольте, я перевяжу.

Из квартир и подъездов, добавляя смятения, высыпали люди в домашнем. По битым стеклам бежала босая женщина в остатках ночной рубахи, следом шлепал тапками ее растерзанный и окровавленный супруг. Удары с Лысой Горы повторялись, сотрясая землю. Стекла, звеня, подпрыгивали на мостовой и тротуарах, клубилась пыль штукатурки. Через заборы, канавы, чужие дворы и сады бежали люди, сами не зная куда. Мчались лошади без всадников и порожные телеги.

Вика приложила к лицу своего спутника сложенный вчетверо платок, велела крепко держать.

— Что с бабушкой? — вскочила на ноги она. — Бежим скорее!

— Чувствую себя Брюлловым в последние дни Помпеи, — пытался шутить Горский, надеясь этим успокоить Викторию.

В исторической окраине Зверинец полыхал пожар. Среди бела дня стало темно, черный дым закрыл полнеба. Над городом, вращаясь, летели тяжелые снаряды крупных калибров. Они с треском падали на здания, проламывали крыши. Иные рвались в воздухе, поливая дворы и кварталы шрапнелью. Полумрак отогнало поднятое на лысой Горе зарево, багровыми языками вылизывая черную копоть неба.

Двое офицеров совещались на ходу:

— Я еще утром заметил над Лысой Горой дым, а через время в той стороне взвился столб огня высотой с версту!

— Там еще баллоны отравляющих газов, ими может засыпать весь город.

Люди толпились у перекрестка. Находчивая и нежадная хозяйка выбросила из окна второго этажа простыню для перевязок. Дама, выбежавшая из дома в одном белье, забыла о страхе смерти и вновь вспомнила о стыде: отвернувшись к стене, горько рыдала, ни о чем никого не прося. Размашисто и отдаленно голосили колокола пожарных бочек.

Рядом с тумбой чистильщика сапог сидел обезумевший обер-офицер и, размазывая по лицу ваку, слезы и кровь, причитал:

— *Verdammtes Land! Wie müde ich von dir bin... Selbst besiegt du noch explodieren*⁶!

⁶ Чертова страна! Как я устал от тебя... Даже покоренная, ты все еще взрываешься! (нем.)

Виктория забарабанила в запертую дверь бабушки. Горский, ничего ей не сказав, осторожно полез в лишенное стекло окно. Через минуту он открыл ей изнутри.

— Вы видели ее? Она жива? — вскочила в дом Вика.

Горский как можно спокойнее велел ей идти следом. Ева Каземировна лежала в той самой комнате, где в январские дни они втроем (Вика, Петр и бабушка) прятались от нежеланного гостя. Старушка лежала на полу посреди комнаты. Окна и здесь не уцелели, но на покойнице не было порезов. Вика пощупала ее запястье, рука была холодной. Она обернулась к Горскому.

— Наверное, разрыв сердца от испуга, — сказал он.

На улице выбивали подошвами хруст из стекол, ржали лошади, деловито распоряжался начальствующий голос.

ГЛАВА XXVII

Перемирие заключили, и Петр стал думать, как быть дальше. Партизаны в основной массе расходились по домам, верили, что немец больше не взбрыкнет, а в случае чего готовы были собраться по первому зову. Таежники звали Петра идти на поиски своего брошенного отряда. Хвостов понимал, что скоро их направят на один из внутренних фронтов, воевать там не хотелось. Но и в Киев ему теперь путь был закрыт. Хотя в Евстратовке начала работать таможня и пропускать поезда на Ростов, он не верил, что пройдет немецкий контроль безболезненно, сама процедура была ему противна. Под прусскую длань возвращаться особенно не хотелось теперь, после хоть и маленьких, но все же побед. Идти ему было некуда. Волей-неволей приходилось отправляться на поиски Змиевского отряда. Уцелевшие люди из взводов Хлебодарова и Золотаренко с богучарцами не остались, тоже повернули на север.

В боях с немцами сложил голову бывший студент Лев, возможно, последний из отряда, кто помнил истинное имя Петра. Не сказать, что смерть Льва обрадовала его, но и чувство облегчения Хвостов не мог от себя отогнать, будто часть хранимой тайны улеглась в могилу.

Дорогой Хвостов со товарищи узнал, что их бывший отряд в Подгорном высидели из эшелона, велели идти к Боброву пешком, там садиться в вагоны и ехать на Царицын. Молва доложила: ушел отряд на Белогорье, ведь там паром через Дон.

С апреля месяца через Белогорье прошел уже не один отряд.

— Голодранцы от немца утекают, — говорили бабы на улицах, провожая пестрые украинские ватаги, не зная, что скоро эта голытьба появится надолго и в их слободе.

Винницкий полк прошел сквозь Белогорье и вроде воды не замутил, а через два дня в Лосевой Павловского уезда стал брать, что плохо лежало. Местные полезли в погреба за оружием, зачаккали по слободским дворам выстрелы. К вечеру хоронили двух лосевцев и одного красногвардейца, обматывали тряпками руки и ноги раненых. Отряды рыскали по округе в поисках пропитания. Когда удавалось уговорить местные исполкомы и собрать по населению продукты, обходилось все мирно, без грабежей. В начале июня возмутились новой властью в Пузевской и Гваздовской волостях, там тоже доходило до пальбы.

Украинская степная бездна продолжала исторгать пучины партизанщины. Тираспольский отряд и шахтеры, давшие своей ватаге прозвище «Соляные копи», сильно на шумели в казачьем краю, пробиваясь в Воронежскую губернию. Из Волчанска в Россию прибежали два полка анархистов Сахарова и Цветкова. Свое название оправдали сразу: в Евстратовке облепили бронепоезд, потребовали срочной эвакуации от границы. Командир поезда Яицкий пытался протестовать, над

ним быстро учинили самосуд, в то время это носило длинное название «отправить на допрос к генералу Духонину». Эшелон остался без головы, с притихшей по углам командой. Площадки и бронеколпаки, забитые черной анархо-матросской гвардией, покатали творить бесчинства, дебош и произвол.

Не поблекшей зеленью и теплом встречал путников молодой июнь. Колосились обочь дорог нивы, свиристела в небесах птица, не сеявшая, не жнущая, жившая без суеты. Отряд, с которым шел Хвостов, взбирался на очередной увал. Не было теперь среди них взводных и подчиненных, ушли из Богучарской дружины и снова все сравнялись. Навстречу катилась телега, правил отрок лет тринадцати. Сзади, свесив ноги, сидела баба с морщинистым лицом, на руках парнишка-трехлеток чмокал белую грудь в синих прожилках. Хлебодаров указал дальше на большак:

— Белогорье туда?

Ездовой молча кивнул.

— Сколь верст до него?

— Три, а может, четыре, — ответила баба с телеги.

Трехлетка, выплюнув грудь, сердито поправил кормилицу:

— Шесть!

Поднялись на вершину взгорка и в жарком горизонте увидели кресты ветряных мельниц. Оставили хутор по левой руке, прошагали еще с версту, спустились в новый распадок, мельницы исчезли, но на взлобке опять стали ближе и четче. Отряд поравнялся с ветряками, внизу расстилалась огромная слобода, через луг от нее петлей лежал Дон, а за ним зеленое лесное море, и в правой стороне на желтых песчаных дюнах рос уездный Павловск. Про него отрядные мужики слыхали.

По бокам слободу подпирали два меловых холма с вершинами, затянутыми с изумрудный гляцевый атлас. Белобокое, камышиноголовое слободское озеро, разлитое по низине меж холмов, утекало в ложбины, прятало неведомые концы в диких терновых садах и складках. Слева в полуверсте торчала красным шишаком двухэтажная земская школа, но не она притягивала взгляд свежего путника, а зеленая пара куполов по центру, с крестами в позолоте. Прорезала тут и там камышиное марево крыш черепичная или жестяная кровля. Отряд спустился под горку мимо холерного и чумного кладбищ, больничных корпусов, вышел к церковной площади. День угасал, и часто выглядывали из-за плетней крестьянские головы; не стесняясь, вслух обсуждали:

— Гляди, еще одни волочатся. Опять на нашу голову...

За церковью пустовал торговый майдан, а за ним видна была улочка и на перекрестке — колодезный журавль. Отряд сбился у водопоя. Фыркая, топили надоевшую жажду, наполняли манерки. Местные и тут одолевали: бабы из окрестных хат высыпали, смотрели беззастенчиво, с крестьянской открытостью, о пацанве и болтать не приходилось — тыкали пальцами, смеялись, обсуждали. Подошел старик лет семидесяти, оперся на клюку, плямгал в заволосатевшем рту потухшей цигаркой, похвалился секретом:

— Ваши шаромыжники надолго в лугу застряли. Теперь, слава Богу, тронулись. Слышно, под Павловском стоят, на Бобров идти не думают.

Прополоскав рот и плюнув на дорогу, Петр спросил:

— Ты, дед, откуда знаешь, где наши, где не наши?

Старик не растерялся, кинул козырем:

— Змиев у них атаманствует. Ваши ль, нет?

— Значит, завтра нагоним, — обернулся Хлебодаров к своим, старику на вопрос не ответил.

— Исполком бы отыскать. Может, чего б собрали на нашу бедность, подкормиться, — заметил Золотаренко.

— На постой надо стать, дело к вечеру, паромщик, небось, уже цепку замкнул, переправлять только завтра будет.

Старик крутил головой, искал связи с гостями, ждал, что его спросят. Петр сжалился:

— А что, дедунь, есть на твоём дворе сарай вместительный?

Польщенный старик обвел глазами честную компанию:

— На вашу братию, пожалуй, местов хватит. Она моя хатка, через три двора от угла.

В детской ораве сильно загомонили, потом улицу разрезал визг, воробьиной стаей кинулась пацанва врассыпную. Визг — приглушенный, будто из подвала, сквозь толщу земли, — прорезался снова. Мальчишки так же стремительно кинулись обратно к вороху сухого хмыза, откуда летел крик. Налетели бабы, откидывали ворох хвороста, допытывались у детей:

— Кто провалился?

— Митроха Ногайныкив... Ногайныкив-младший, Григория сын... Бегите за Ульяной! Кличьте мать его! — летело по толпе.

Петр подскочил к гомонящему скопу. Хворост раскидали, в земле открылась полусасыпанная воронка — горло заброшенного колодца. Хвостов скинул через голову скрученную в жгут бекешу, винтовочный ремень, стянул лямки заплечного мешка, отстегнул ремень и скинул сапоги. Бабы, видя его решительность, заохотили:

— Тикайте, тикайте! Зараз хлопец мырять будэ!

Снизу, со дна колодца, тек неровный детский плач. Петр заглянул в яму (внизу смутно копошилось дитя), сел на край ее, спустил ноги, уперся ими в стенку, стал аккуратно сползать, чувствуя спиной выложенную лозняком горловину старого колодца. Позади себя он успел различить голос Хлебодарова: «Дед, тащи веревку!», и голова его ушла под землю, скрылась в темени. Народ толпился над провалом, заслонял солнце, Петр, подняв лицо, крикнул вверх:

— Расступись! Не видно ни черта!

В это время обвалилась под суетливой ногой земля, Петру запорошило глаза, стукнуло комом по темени, он оскользнулся, полетел на дно, едва не свалился на голову ребенка. Воды было чуть выше пояса, ноги вязли в мутном грунте. Наверху тревожно загомонили, вскрикнули бабы, послышался отчаянный визг — прибежала мать упавшего мальчика. Петр нащупал рукой дрожавшее тело, другой — полоскал резавшие болью глаза, услышал сверху:

— Ты живой там, Максим?

— Живой... и дите живое, — морщился, сплевывал тухлую воду Хвостов.

— Сейчас конец тебе спустим, потерпи.

Петр разглядел торчавшую из воды головенку, огромные от страха глаза восьмилетнего хлопчика. Успокаивал, приговаривал ласковое, пока наверху суетились.

— Слышал? Сейчас нам веревку принесут, и на волю выйдешь.

— Не бросай меня, дядько!..

— Ты что? Чего ж я полез, чтоб тебя бросить? Тебя первым достанут, меня уж потом.

Обвязав хлопца под мышками, Петр крикнул: «Тяни!», и головы вверх больше не задира, прижался к плетеной стене колодца, слышал, как скулит от страха малец, сыплется в воду земля.

Околевшие ноги его вырвались из вязкой жижи, у колодезной ямы командовали: «Р-разом! Еще... р-раз!», и веревка уплывала в светлый круг над головой. Петр

пытался отталкиваться ногами от стены, но веревку выбрали рьяно, его шатало, ударило спиной о лозовую стенку, звонко треснула ткань рубахи, распоротой о торчавшую из плетня хворостину.

Причитаний и плача уже не было, мать унесла свое спасенное чадо, были бабьи сочувственные вздохи, налитые восторгом детские взгляды. Петр вызванивал зубами дробь, тащил через голову гимнастерку, медленно и неуклюже выкручивал ее, оглядывал залепленные грязью штаны и босые ноги.

Как ни напугана была крестьянка, как ни затуманена материнская голова радостью, все же природная благодарность выгнала ее со двора на улицу. Она бежала от своих ворот, прижимала руки к вышитым цветам на груди своей сорочки, гнибалась почти до земли, не просохли полные слез глаза:

— Милый мой хлопчик, да как я тебе благодарна!.. Ой, солдатик мой родный... Бог тебя послал!..

Петр замер с не выкрученной до конца рубахой, неловко улыбнулся. Она взяла его за локоть, потащила с собой:

— Ходим, я тебя отстираю, я такая должника..

Хлебодаров подхватил его вещи и оружие, пошел следом, во двор заходить не стал, перегнулся через низкий плетень, опустил всю поклажу на траву, коротко махнул на прощание: «Мы тут у старика в сарае, по соседству», и ушел. Возле хаты сидел на лавке укутанный в тулуп спасенный Петром ребенок, одежонка его мокрая валялась клубком. Хозяйка приволокла из хаты цветастое одеяло, сунула в руки Хвостову, перед этим выдернув из них гимнастерку. Она мела длинным подолом порошки в хату, поднимала по двору пыль: тащила корыто, разводила в печи под камышовым навесом огонь, ставила на него ведерный чугун, лила воду, валила скопом детские вещи и мундир Петра. Принесла ему полнехонькую кружку самогона, ломоть хлеба, укрытый долькой розового сала. Хвостов, завернутый в одеяло, принял посуду, взглянул на бледного мальчонку, кивнул на кружку:

— Тебе оставить?

Малец впервые улыбнулся.

Петр до конца самогон не осилил. Оторвав губы от края глиняной кружки, он заслонил их закуской, сильно потянул носом воздух. Хозяйка подкинула в печку пласт кизяка и горсть облущенных кукурузных початков, сунула руку в чугун, скомандовала сыну:

— Митроха, полезай.

Парень послушно порхнул к корыту. Мать его обмотала чугун тряпкой, сняла с грубки, окатила водой мальчика. Когда снова поставила чугун на плиту и наполнила, подбежала к Петру, укутала его ноги освободившимся тулупом. Хвостов благодарно ей улыбнулся, самогон растекся по телу и растянул углы его губ чуть больше, чем он этого хотел. Хозяйка ответила тем же, причудливо задержала на нем взгляд. Она вернулась к сыну, поставила на ноги в корыте, наскоро отерла пучком ярко-желтой соломы, замотала в белую холстину и утащила в хату.

Солнце давно село, из-за Дона наплывала тьма, а за бугром, на котором торчала бельмом двухэтажная школа, еще тлела багряная полоска. По улице шелестела клешнятыми копытами череда, лениво щелкнул кнут. Нажала рогами калитку и вошла корова, протяжно мыкнула в распахнутую дверь хаты. Хозяйка высочила на порожки:

— Одюжал хоть чуток? Хай пока вода греется, а я корову управлю. Посиди еще, скоро купанье сготовлю.

В хлеву громыхнул подойник, ласково журчали молочные струи, с причмокиванием пила скотина прохладную воду. Петр взял нетвердой рукой кружку:

— Ну, и я отставать не буду.

Остатки самогона угомонились в животе, пустили в руки, ноги и голову сла-

бые щупальца, выгнали на лице устойчивую улыбку и дежурили, чтоб она не сходила.

Хозяйка появилась не скоро, вылила под огурцы воду из корыта, намешала новой, кинула в нее щепотку сухого хмеля, ласково позвала: «Иди, родимый».

Он откинул тулуп, встал на нетвердые ноги, на ходу кутался в одеяло.

— Помочь тебе? — с тревогой спросила хозяйка.

Петр помотал головой: «Сам».

Она подхватила выпавшее одеяло, поддержала его за руку, пока он переставлял ноги через высокий борт корыта, и хотела уходить, но в сумерках рассмотрела:

— Да с тебя кровь цебенит!.. Погодь...

Петр поглядел себе за плечо, ничего не увидел, цеплявшимся за зубы языком сказал:

— Об плетень меня садануло... или рана старая открылась, — и с плеском уселся.

Хозяйка прибежала с листом подорожника, чтоб не упасть, оперлась рукой на его плечо, другой — хлюпнула на спину теплой воды, осторожно провела по ней сдвинутыми пальцами и приклеила листок. Он выдернул из воды ладонь, порывисто накрыл ее руку и свое плечо. Тяжело дыша, тихо спросил:

— А где ж отец Митрохин?

— Я вдовая, — еще тише был ответ.

На далекой улице в терновых садах гладко запела девичья пара. Хозяйкина рука с силой вцепилась ему в плечо, сама она нагнулась и торопливо поцеловала его, неумело, по-крестьянски.

— Я слышала, Максимом тебя кликали.

— Максим и есть. Гадюкин. Сидел он во мне все это время, и вот одолел.

Он видел, как она напряженно улыбнулась, не понимая его слов или не до конца готовая к тому, на что решалась.

Над Доном вылез не налитый месяц, и пузатый корабль темного облака напоз на него, укрыл под собой. В дальних садах к девичьему хору приклеился тонкий мужской подголосок.

«А ведь она не очень старая, не совсем страшная, и даже коровьим навозцем от нее пахивает не слишком удушливо», — подумал Максим Гадюкин.

ГЛАВА XXVIII

Июнь перевалил за половину. Минула Акулина — «задери хвосты»: скотина от жары и овода бесится, мчится по выгону, взбрыкивает, изломав дугой хвост. Подсохло в заливных лугах, и дозревали травы. Зима была скупа на снег, половодьем весна не баловала, высушило грязь меж осокой. Вечерами от Дона тянуло прохладой, а из безводных степей напоззал раскаленный солнечной жаровней воздух. Близилась Троица, и тек над слободой визг точильного камня, правились разошедшиеся грабли, насаживался новый держак на вилы.

В четверг перед праздником пустели луга, где гуртовался для вечерних гульбищ молодняк. Наступал Велик дусте у русалок, или кличальный четверг: девки с зелеными волосами купаются в реках и озерах, качаются на ветках гибких берез и непременно кличут: «*Меня маты породыла, нехрещену схороньла!*». Они нападают на тех, кто презрел дедовы запреты и вышел в этот день в луговину, а поймав — лоскочут до смерти.

На другой день до свету тянутся от слободы телеги с косарями. И во главе гужевого каравана несут на сколоченном помосте обряженную куклу — сплетенное из молодой травы чучело русалки. Перед покосом разрывают ее, растаскивают по лугу, а одежду сжигают. Чтоб уродилась и на будущий год трава.

Тронутые ночной росой луга роняют первые скошенные пряди. Тренированное чуткое ухо на покосе выхватывает куски замысловатых историй, как на кринице средь бабьего гомона, и фигурки цветной слюды выкладываются в пестрые мозаики:

— ...так вот, он болтал, что стрела та небесная раз на человеческую жизнь приходит. Ты вот ее видел, я видел и мальчонки наши, скажем, тоже видели, а теперь посмотрят только когда стариками будут. Кометой она зовется и снова в небе повиснет огненным хвостом.

— ...гляжу — по Дону оберемок⁷ цветов плывет: знать, под ним утопленница. Я саженками — и ходу, ходу.

— Я nonetheless год кормов вдвое больше запаса: зятя, слава Богу, живые вернулись.

— ...на Молочном в позатот год рыбалил, крючок зацепился — думал, кувшинка, а вытащил из воды новехонькую бабью сорочку старинного покроя.

— И как покрой распознал?

— Что ж я вдовьих рубах в своей жизни не видел?..

Малец, впервые взятый на покос, жмурится на солнце, морщит нос, усыпанный цветочной пылью. Ему еще все в диковину. У него тоже маленькая коска, отец учит, как опускать у нее «пяточку», помногу не захватывать и отбивать лезвие оселком.

— Батя, а почему мы траву молодой не косим, она ведь мягче, и косой по ей легче вести?

Отец переводит дух, протирает скошенным зеленым пучком блестящее от росы и травянистого сока изогнутое жало литовки:

— Разнотравье, оно тоже живое, ему родить охота, семя в землю высыпать, а тогда уж и помирать не жалко.

Малец запоминает, иное усваивает по-своему: «Ведь и мне родить придется, когда вырасту... Не мне, а девке, на которой женюсь. Я ночью слышал разок, как сестрица Лидка стонет, то ей в пузо Пашка дите заталкивал». Он снова ведет своей маленькой косой, замирает и следит, как от движения его рук сыплется из семенных гребешков пыльца и стелется на легком ветру, опадает на землю.

Этой же порою — водосвятие колодцев. Идут крестным ходом на дальние поля, на тамошные степные оазисы. Батюшка наполняет из бадьи церковную чашу, опускает в воду крест и кропит ею толпу. Люди утирают мокрые лица, заодно вымывают у небес дождя.

Берегись в эти дни, женская порода. Детвора, что постарше, а иногда и жеребцы-парубки прячутся возле слободских колодцев, выскакивают из укрытия и окатывают проходящую мимо бабу колодезной водой. Упаси Бог при этом строгую старуху обидеться и заругаться. Тут же получит: «О, да это ведьма!», и снова окатят, ведь всем известно, если ведьма останется сухой, она помашет на подплывающую тучу своим фартуком, и туча отлетит обратно. Потому и стараются в засуху облить водой каждую — в надежде вымочить между ними ведьму.

Феликс подгонял отставшую телушку, стадо таяло, растекалось по дворам. В монастырь он возвращался все реже, ночевал в брошенной клуне на окраине слободы, а иногда звал его к себе в бобыльскую халупу пастух Юхым, вечерял теми крохами, что оставались от обеда. Феликс совсем бы ушел из монастыря, но пугала предстоящая зима: где ему были рады?

Обитель нищала день ото дня, и на последней странице ее летописного свода появилась запись:

⁷ Охалка (*суржик*).

«Пасха.

Первые три дня хорошие были, а остальные дни — сиверка, богомольцев мало, боятся красногвардейцев; по дорогам обирают, в селениях, слободах отбирают хлеб, скот, деньги; хотят сравнять всех, чтобы не было “буржуев”. В городе Павловске стоят красногвардейцы и обложили город контрибуцией в 200 тысяч! На содержание их. Богачам пришла беда, и в Мае еще потребовали 500 тысяч!

Нашествие конных всадников-варваров.

Не миновал беды и наш монастырь: 29 мая, во вторник, в начале двенадцати часов дня явились к нам в монастырь десять, а может, и двенадцать вооруженных конных всадников под именем “красногвардейцы”, в нетрезвом виде, произвели ограбление монастыря, взлом рам и дверей в доме Настоятеля, разбили все ящики в столах, похитили деньги и вещи: серебро столовое и чайное; иерейские кресты и наперстные Игуменские, деньгами 1800 р. Затем серебро — лавочный товар, 500 золотых и серебряных крестиков, произвели всюду разгром — и в старом доме в кладовой, и в новом соборе; сломали замок, разбили свечной ящик, похитили деньги и часть из кружки. Произвели обыск по кельям братии: всюду с отбращением денег, вещей! С ругательством и побоями...»

Из воспоминаний его выдернули плеск воды, жеребячий гогот и сдавленное девичье недоумение:

— Хлопцы, вы чи сказылысьс⁸?

Бежали ватагой дебелые лошаки, махала из-за плетня на них старуха клюкой:

— Анчибелы! Не знаете, чья это жинка? Вот Андрюха со службы придет — всех батогом ссудит!

Феликса обогнала с пустыми ведрами та самая молодка, что встретила ему на первый день пастьбы. Он против воли прощупывал ее ладно скроенную фигуру в мокрых одеждах, чуял, как с каждым шагом распирает его нутро дикая страсть. Теперь он знал, чья она жена, бабка не будет пугать огольцов абы кем, эта дивчина — собственность Калинкова. Его власть, его время — его и красавица.

«Примкнуть к любой иной силе, что будет против нынешней власти, воспользоваться смутой, чтоб отвоевать эту женщину, чужую жену. Я хотел большевиков, но я заблуждался, думая, что силен своим ремеслом. За этой бандой такой легион, что мой маленький талант меркнет. Моя мечта теперь в другом лагере. Пусть придут с казачьего Дона силы».

Пелагея резво шла ко двору, разлепляла мокрую юбку, вязавшую ноги, яростно колотились пустые ведра на коромысле. Навстречу шел незнакомый парняга, лицо тонкое, нездешнее. Замер, удивленно поднял брови, привстал возле плетня, пропуская ее меж собой и медленным коровьим боком.

«От стыдоба! От сатаны соплесты! Ведьму они шукают! И чей это парубок на нашей улице? Уставился, путь дает, пропускает. Ай, пропади все! И этот заезжий: сегодня здесь, завтра еще где... Что он мне? Я его первый-последний раз вижу... Хотя красивый... Интересно, еще смотрит?..»

Максим Гадюкин вышел встречать корову. Была она смиренная и понятливая, по чужим закоулкам не блукала, но одолевала Максима безделье. Человек в крестьянстве он новый, брался за всякое посылное ему дело, мало что выходило толкового. Ульяна, у которой он поселился, наделяла его мелкими поручениями. На пути попалась мокрая с головы до пят молодка, в стеклянных бусах и медных сверкающих серьгах. Брови досадно сдвинуты, из-под косынки пряди выбились, губы — в суровую нитку, ядра полных грудей облепила влажная сорочка.

⁸ Ополоумели (*суржик*).

«Кто ее вымочил? Что за история? Видать, и эта началась у колодца, как и моя... Боже, стройна, как лань!.. Посторонюся, пусть идет. Неприятность с нею, оттого и торопится. Прошла. Раз с коромыслом, то живет на этой улице; сколько дней здесь — и не разу не встречал. Глянуть, где живет?»

Обернулись разом, оба смутились, друг друга повторно не разглядели. Он не заметил, в какую калитку она шмыгнула, торопливо отвернулся. И только, когда встретил корову Ульяны и пошел за ней следом, рыскал глазами поверх плетней, шарил по дворам. В ответ отливали загаром лица старух, встречавших свою художу. Медные серьги со стеклянными бусами нигде не блеснули.

Максим Гадюкин вспомнил, как, переночевав под соломенным навесом с Ульяной, не ушел на другое утро за Дон, а обнимался с Хлебодаровым и прочими у парама, Золотаренко говорил ему на прощание: «Где б вороне не летать, сризь⁹ навоз клевать».

ГЛАВА XXIX

Полыхала по нивам страда, топорщилась коротко подстриженная белокурая щетка августовской стерни, коптился чернозем между скошенными былками. Земля двенадцатый год не уморилась рожать, с девятьсот пятого лета не знала округа голода. Снимали впервые с помещичьих угодий нагулянный жирок, любовно топили руки в потоках пшеничного золота, купались дети на гумнах в озерах из жита. И, скрипя зубами, слушали на слободских стодах телеграммы из новой-старой столицы, в марте перекочевавшей с берегов Невы на московские берега: «Промышленные города и районы отрезаны от хлебных мест! Рабочий задыхается от голода! Уже доедены запасы картофельной муки и сухарей. Крестьянин! Не дай погибнуть городу! Все на уборку!»

Под свой и соседский зубовой скрежет крестьянин грузил телегу помещичьим зерном, ворчал про себя: «Рановато по-богатуму жить захотелось». И вез мешки на казенную ссыпку.

Округа постепенно утихомирилась. Закончился исход партизанщины из занятой немцем Украины. Иные отряды отправили на Волгу, оборонять Царицын, иные рассадили по старым царским казармам и гарнизонам, поставили на довольствие, чтоб они не бродили бездомными шайками, не разоряли местностей, регулярно слали к ним агитаторов, вели пропаганду и просветительскую работу.

Волчанский полк анархиста Сахарова обосновался в уездном Острогожске, агитаторов к себе не пускал, держал оборону, скупал на местном рынке ханжу, отоваривал награбленное у буржуев золото, но сильно не бедокурил. Иногда рассылал по уезду революционные воззвания: «Мобилизуем подводы у населения. Пересечем демаркационную линию и устроим немцам на оккупированной Украине праздник!» Местные власти эти воззвания арестовывали и уничтожали.

Некоторых не оставили без дела: от Ровеньков до хутора Голый Богучарского уезда заняли оборону партизанский полк Фурастова, Полтавский отряд Головки, Чехословацкий красногвардейский отряд Кучеры, кавалеристы Домнича и сводный полк Нехаенко. Всего в этой массе соединений было девять сотен штыков и двести пятьдесят сабель.

Летом выехали из Белогорья сорок семей на вольное поселение. Ушли в маловодную степь за три десятка верст от слободы, основали два хутора — Иголкин и Водяный. В те времена иной раз летела ругань над дворами, и кричал мужик на свою сварливую женку: «Я с дома уйду, забью кол посреди поля и буду вокруг его жить! А ты — куда без меня денешься?» Так оно и было. Мужик грузил на подво-

⁹ Везде (*суржик*).

ду своей нехитрой шарб и утварь, сажал бабу, детвору и правил на дальние поля. Там выбирал место под курень, вбивал в землю отесанную вербовую ветку и временно ладил шалаш. Через неделю вынимал ветку из земли, и если она засыхала, то смело лепил на этом месте из глины саманную хатенку — место сухое, перезимовать можно. И обростала саманочка соломенной крышей, навесом для скотины, огорожей, возделанной делянкой, и жило крестьянское семейство, разрасталось, расстраивалось.

Покидали слободу в основном из переполненных семей, где ртов чужих много, съезжали со дворов молодые сыновья и зятья от стариков. Была то затея вновь учрежденного органа, что звался заковыристо волземотделом.

Приносили волостные сходы вести и с бранных полей. Кругом земля дымилась, и фронтами в кольцо молодую страну запирало.

Весь август с юга навевало грозой, и в конце месяца блеснуло молниями. Генерал Краснов за лето сколотил боеспособную армию из прошедших германский фронт казачьих полков и офицерских добровольческих соединений в тридцать тысяч штыков и сабель.

С сидевшими по соседству немцами бывший их противник заключил неофициальное соглашение: оружие в обмен на хлеб. Из донской житницы потекли на запад вагоны с зерном, а оттуда — снаряды, захваченные минувшей зимой на русских складах, разбросанных по Украине. Немцы потирали руки: «И волки сыты, и овцы грызут друг друга без нашей помощи своими литыми вставными челюстями». Снарядный боезапас, которого катастрофически не хватало в четырнадцатом и пятнадцатом годах, теперь в изобилии сыпался на головы единокровных врагов.

Краснов отправил кайзеру письмо, просил от императора быть третейским судьей и «...содействия в присоединении к Войску, по стратегическим соображениям, городов Камышина и Царицына, Саратовской губернии и города Воронежа и станции Лиски и Поворино, и провести границы Войска Донского как это указано на карте, имеющейся в Зимовой станице».

Двумя рукавами шли казачьи потоки: вдоль железнодорожной ветки Калач — Бутурлиновка — Таловая и старым воронежским шляхом по левому берегу Дона. В Лисках оба потока должны были встретиться, заключив в объятия всех, кто не успел удрать на север.

Республика на юге могла поставить только обнищавший кадрами, наполовину разошедшийся по домам Богучарский полк в семьсот человек. Добрая часть этих людей, согласно приказу уездного комитета, разъехалась по селам и хуторам для уборки помещичьих угодий. В Осетровке навстречу такому отряду жнецов вынесли столы с хлебом и солью, расквартировали в земской школе. В полях стояли немолоченные скирды — бойцы следующим утром пустили их через молотилки. Мобилизовали среди крестьян подводы, и в Богучар потекла золотая река в тысячу пудов ежедневно. К 9 августа на ссыпных пунктах города скопилось полсотни вагонов зерна.

За два дня до этого на окраинах Богучарского уезда прогремели первые в здешних местах выстрелы гражданской войны. Казачьи разъезды Гундеровского полка осыпали пулями заслон богучарских разведчиков. Помчались из города рассыльные по хуторам собирать полк с хлебной страды на битву, ведь в самом Богучаре осталась только комиссарская рота. Вечером заседало экстренное совещание уездного комитета: решили вооружать всех коммунистов, снять охрану ссыпных пунктов и кинуть всех в бой.

Рано утром он разгорелся с юга от города, но шел недолго, разъехавшиеся на уборку отряды к нему не успели. Те, что приняли бой, почти все полегли, остатки разбитого полка отступили на север. Раненый Прокопенко, возглавлявший

полк в дни майских боев с немцами, скончался по дороге не доезжая Верхнего Мамона. Тело привезли в Павловск и там с почестями похоронили.

Двадцать восемь плененных казаки расстреляли на соборной площади тем же днем. Грянули расправы. За сочувствие новой власти в тюрьму бросили больше трех сотен. В глухом яру за каталажкой по ночам грохали выстрелы. Из-за толстых стен казенного дома редкий прохожий слышал мучительные крики и пробежал скорее мимо, напуганный ими, а еще — рассекшей воздух нагайкой скучающего в карауле часового. По уезду тоже лютовала плеть и петля. После боя в Галиевке живыми зарыли в землю десяток пленных красноармейцев.

В бою у Старой Меловой казаки отбили два орудия и полтора десятка пулеметов, а при взятии Монастырщины захватили обоз и денежный ящик красных. Отряды рассеянного Богучарского полка стекались на север, собирались на границе Павловского уезда. Над ними встал новый командир, бывший унтер и Георгиевский кавалер Валентин Малаховский. Сколотив из прибывавших отрядов соединение, он повел его скрытно донским берегом в бой, освободил Журавку, родную землю многих солдат полка, и... к вечеру ее оставил. Отходили к Павловску, по дороге огрызались. На третий день этих боев Малаховского ранили, отряд покатился без оглядки.

Перед казаками маячил купеческий Павловск: торговый город и речной порт, богатый ссыпными пунктами, товарными лавками и водным транспортом.

Секретарь Белогорского волисполкома снаряжался на реку за камышом. Брат его Никита крыл наново сарай и кошару, заготовленной соломы не хватало, скирда таяла. Тихон деловито бросал на дно телеги самодельный секач, грубые рукавицы, бутылку молока и узелок с краухой, расправлял на кобыле постромки, оглядывал колеса.

— Да езжай, чего кублишься? — прикрикнул старший брат. — До вечера тебя не дожدهшь.

Тихон выехал за слободу. Плыло по сторонам выкошенное займище, толока с пестрым стадом. После сенокоса перегоняли его с Поляковой на луговину. От оставленной до осени длинной скирды гнал заезавшийся подпасок рыжую телушку. Тщедушный, рваный, сухой, даже Тихон в его сравнении восседал на телеге упитанным крепышом, а ведь всем известно, что не взяла писарчука в армию по малорослости. Подпасок со злостью запустил в скотину палкой, поправил свитку, упрятал обратно вылезшее в прореху худое плечо.

— А если б корова, да по вымени попал? — сердито крикнул с телеги Тихон.

Подпасок обернулся взъерошенным ежом, хотел ответить грубое... Мгновение боролись у него на лице злорадства со смирением, потом последняя победила, загуляла неискренней лукавинкой:

— Закурить не будет?..

Тихон снова хотел упрекнуть нерадивой пастьбой, но полез в карман, не до конца прогоняя назойливо засевшую острастку:

— Э-э, любитель ты на дармовщину.

— Да я только в поле, браток, кюрю. В монастыре нам не разрешают.

Тихон остановил кобылу, аккуратно кроил полоску от трехдавного «Русского слова», сыпал в сложенную желобком бумажку самосад.

— Слышал, вас опять грабили, — протягивая завертку, поглядывал он на подпаса.

— Во второй раз уже, — жалостливо выдавил Феликс, — через месяц после того погрома.

Он закурил от протянутого Тихоном трута, сладко затянулся и, благодарный за угощение, охотно рассыпал слова:

— Под вечер явились, втроем. С ног до головы в оружии. Сразу к настоятелю: «Давай контрибуцию. Десять тысяч! А то стрелять начнем...»

Тихон сочувственно покивал. Подпоясав голодным взглядом наткнулся на узелок с хлебом, сквозь ткань прожег горячими глазами и понял, что там. Писарь протянул ему еду, бутылку, на ходу бросил:

— Посуду не теряй, на обратном пути заберу.

После второго нашествия рассудок у брата Афинодора помутился. Феликс не встретил очередных налетчиков, был на пастбище. В сумерках, когда поднимался по дороге к монастырю, к нему с колокольни нового храма слетали невнятные крики. Голос был дик, и Феликс узнал Афинодора, только переступив ограду обители. Старик Илларион сидел на порожах братского корпуса, с натугой дышал и держался за сердце. Настоятеля вовсе увели подальше от сыпавшихся со звонницы богохульств:

— На кой бес кагор хранить? Все одно его разбойное племя изведет!

Ризничий в окружении братии стоял внизу, ласково уговаривал:

— Брат мой, одумайся. Выйди к нам с миром...

Феликс увидел, как рванулся Афинодор через кованую ограду, его поймали за ярясу, втащили обратно на колокольню. Пока несли по лестнице, слов было не разобрать. Ступили на землю с непокорной ношей, Афинодор извивался, прокусил сквозь скуфейку, накиннутую ему на рот, иноческий палец, вновь заорал:

— Последние времена! Вновь уйдем под землю, подобно первым римским христианам! — тыкал, обезумевши, в сторону пещерного входа. — Вера без гонений мертва! Церковь без гонений — базар! Господь сподобил нас родиться в Смуту! Теперь каждый докажет любовь ко Господу! А кто слаб — прочь! В геенну-у-у! В геенну...

Ему вновь накиннули скуфейку на разъявленную пасть, попутно затолкав туда бороду. Уже в келье от привязанного к кровати, перед тем как сменили скуфейку на добротный кляп, вырвалось на волю последнее откровение:

— Россию распяли! Пойдет новое летосчисление! Новый Завет, братья! Новый...

Тихон, не прощаясь, тронул кобылку, оставив Феликса с его воспоминаниями.

Дон золотился на стремнине, качал от середки искрами, заигрывал волной. Ближе к берегу вода мутилась малахитовой толщью, а у самой глинистой кручи ласково перенимала серо-голубую прозрачность. Мальчишки выныривали с пригоршнями вязкого глэя¹⁰, ляпали им в берег, ковырялись, выбирая белую личинку мотылька — первейшую наживку для рыбы.

Вверх по Дону круча мельчала, пологим берегом встречалась луговина с рекой. Из воды торчали шаткие, не поновленные в этом году сходни с помостом. Не было водосвятия нынче, не было крестного хода на реку, про ярмарку на престольный день еще в германскую войну позабыли. Тихон с грустью проводил обветшалые мостки, впервые подумал, что жизнь вокруг меняет привычную стежку. Не та жизнь, кипевшая в большом мире, взбудораженная революцией и бившая в его укромную слободу выборами, резолюциями, воззваниями, а эта — повседневная, обычная.

От середины реки тянулся к берегу узкий язык дамбы. Меловая крейда, навертнутая с борта камне-водной байды, покрылась прозеленью, обросла лохматой бахромой. В глубинах ее — налимыи пещеры, приют и раздолье для раков. Из утонувшего в реке носа дамбы торчит шест, на нем — фонарь с высохшей утробой. Давно не заправлял его бакенщик, да и сам он — безработный: ночами суда больше не ходят.

За дамбой укрылся не выбитый пароходной волной камышовый клин. Тихон

¹⁰ Донная глина (*суржик*).

дал зайти кобыле в воду, вымочив длинную гриву, она беззвучно пила. Жолеса по ступицу купались в Дону. Свалив на телегу охапку камыша, писарь утер пот, поглядел на мелководе. В песке рисовала дугу ракушка-зубатка, вбирала в себя зеленую тину, торила путь. Тихон вынул ее, пустил вдоль воды. Плоским боком ракушка толкала реку, подпрыгивала, оставляя круги. Тихон насчитал пять штук.

Он вспомнил, как девушки гадают на Купалу, опуская на песок голову и прислушиваясь к донскому шепоту. Ему не нужно было знать имя суженой, писарь встал на колени и загадал одно слово: «будущее». Река почти сразу ответила — в землю будто кувалдой ударило. Вода далеко несла звуки, и стало слышно Тихону, как вниз по Дону бьют орудия. С частотой, породить которую могла только человеческая воля, повторялись удары, чувствительный телеграф реки разносил их на многие версты. Вот один... второй... И снова первый, а ответный съело протяжным пароходным гудком.

С низовьев шуршала винтами флотилия, уходила на Лиски.

В Павловском пароходном товариществе имелось пять крупных кораблей: «Заря» (переименованная в «Революцию»), «Луна», «Луч», «Грузовец» и «Павловск»; столько же небольших баржонок и шестьдесят единиц рабочего класса. Еще до революции в город правительством был отправлен небольшой технический флот из двух моторных катеров, четырех корчевных суден, россыпи мелких камне-водных байд и флагманского парохода «Воронеж» (теперь переименованного в «Ленин»). Флот работал на укреплении береговой линии, углублял и чистил донское русло, строил по берегам дамбы, корчевал прибрежные деревья и топляк. В штате его было столько около сотни рабочих.

Волнами революций многих водников пораскидало, унесло с Дона в иные берега и порты, но большинство осталось в Павловске. В феврале Товарищество послало в Ростов делегатов на Съезд донских речников, они вернулись, собрали рабочих на «Революции» и поставили вопрос о национализации флота. Речники запротестовали, засомневались, что смогут сами управлять таким хозяйством.

Наступали иные времена, двигались казачьи полки к городу, национализация не терпела. С подачи исполкома речники выдвинули пятерку активистов, возглавленную бывшим капитаном «Зари» — Захаром Безрученко. Пятерка быстренько описала портовое движимое и недвижимое имущество. Судовладельцы выразили протест и с надеждой поглядывали на юг, в сторону ухавших пушек.

Флотилия встала на якорь у Дуванки. Захар Леонтьевич торопливо сбежал по сходням, махнул старпому фуражкой:

— Успеем, я быстро! Только с братом и племяшами прощусь!

Опершись на перила, смотрели вслед ему обе дочери, сыновья, жена в тревожной муке комкала лицо, не понимала: зачем эти прощания, ведь скоро белых прогонят и семья их вернется.

Захар Леонтьевич взбежал на крутизну высокого берега, кинулся в первый от реки курень:

— Хозяин! Дай мерина! Можешь не запрягать, охлюпкой сметаюсь.

С гумна, где шла молотба, шел неторопливо крестьянин, чесал живот под рубахой, веско ругал:

— Как-так «дай»? Ты сел и поехал — и поминай, как звали.

Захар Леонтьевич в белом парадном кителе, сверкавших пуговицах и взмыленной от пота фуражке вытаращил глаза, замахал перед носом крестьянина наготовленным серебряным рублем:

— Ты за кого меня держишь?! Я, по-твоему, оборванец с большой дороги?

— Нынче и не в таких нарядах к нам заявляются, — резонно басил крестьянин. — Вон по весне шли с Украины, так там и в соболях гуляли, не то, что в пижмаке капитанском.

— Да к брату я, Гришке Безрученко, — мигом вернусь! — свирепел уполномоченный глава флотилии, и наливалось его закаленное ветрами и солнцем лицо бурячным соком.

Крестьянин деланно прищурился — он давно угадал Захара:

— Брат, говоришь? А ведь мы с тобой вместе в орлянку играли, тарантула на восковую нитку выманивали. Как ушел в город матросить, так с тех пор в наших навозах огородных и не появлялся.

Взяв рубль, он неторопливо ушел к сараю.

Ирина доила корову, когда во дворе поднялся гомон. Она остановила свои руки, прислушалась: по крикам было непонятно — горе хлынуло в семью или радость. Дойка — дело святое, нельзя болтать, нельзя садиться за нее без молитвы, нельзя ее останавливать, но Ирина, перекрестясь, схватила цибарку, выскочила из кошары.

Все бросили домашность, окружили внезапного гостя, свекровь зажимала углом платка рот, Дмитрий стоял хмурым. Свекр обнимал брата, слез на глазах у него не было, однако голос дрожал:

— Только делянку с Митькой новую убрали, только с поля свезли... Скажи: не удержат Павловска? Вернется старой прижим?..

Захар Леонтьевич с жалостью щурился:

— И хотел бы тебя успокоить, да как... Видишь, сам тикаю.

Издали принесло ветром тягучий грозовой раскат, все обернулись к далекому эху.

— Наши посыльные, кто с города к богучарцам ездил, говорят: уже завтра казаки под Буйловкой будут.

Его слова запечатало новым протяжным гулом.

ГЛАВА XXX

Про то, что Павловск будет оставлен, в Белогорье поняли, когда паромом стали перевозить потрепанный Богучарский полк. Тем же днем бойцы заняли подпиравшие слободу горы: Монастырскую и Курничную, конный разъезд с десятком пеших наблюдателей облюбовал Кошелеву. Паром оставили у Белогорского берега, отрядило для охраны заслон с пулеметом. Раненого Малаховского с полком не было, его отправили на лечение в Воронеж.

Помимо воинского снаряжения, орудий, зарядных ящиков и прочего имущества привезли богучарцы с левого берега двух своих мертвых бойцов. В тот же день повезла санитарная двуколка их к Белогорскому кладбищу. Товарищи павших успешно сходить в Преображенский храм, договорились с батюшкой о церковном хоре.

От ступеней храма двинулась похоронная процессия вверх по Базарной улице. К траурному шествию вышла чуть не половина слободы — зрелище диковинное, военных такой массы здесь тридцать лет не видели, с тех пор как покинул квартировавший в Белогорье со времен Александра Первого кавалерийский эскадрон.

В обозе у богучарцев нашелся отрез черной бархатной ткани, из нее на скорую руку сделали паре лошадей траурные попоны. В санитарной двуколке голова к голове лежали покойники. Один во флотском мундире, в несвежей тельняшке, видимой через распахнутый ворот бушлата, другой — в выцветшей пехотной форме, укрытый по грудь шинелью.

Медными голосами завывли трубы полкового оркестра прощальную песнь, потом по взмаху церковного регента Ситнянского затянули певчие «Со святыми упокой».

— Вот это номер, — процедил сквозь зубы учитель Шендриков. — Одним махом: «Вы жертвою пали...» — и тут же тропарь церковный.

— В прошлом марте не так, что ли, было? На митинге, вспомни, — ответил ему Тихон.

Шендриков согласился, на ходу закивал головой.

Пока шли до кладбища, хор и оркестр два раза сменили друг друга. Возле открытых могил полк выстроился правильным каре, за рядами солдат толпились слобожане. Замещающий командира полка человек проговорил короткую речь:

— Мы провожаем сегодня товарищей в последний путь. Они достойно жили и погибли ради новой жизни на земле...

Заместитель командира резко дал отмашку. Позади солдат и толпы белогорцев троекратно грянул салют из винтовок. Не ожидавшие жители присели, пронзительно взвизгнули бабы. Отец Николай, убиравший в саквояж кропило с евангелием, сорвался с места, пугаясь ногами в рясе, поскакал через могилы, а разобравшись, в чем дело, недовольно прогремел:

— У, негодные, не предупредили!

«Негодными» он крестил мирян чаще всего. Лет за десять до революции священник шел мимо свежепокрашенного забора волостного управления, заметил, что весь он разрисован детской неумелой рукой. Письмена состояли из нецензурных изречений, и отец Николай прогневался на широкую улицу:

— Вот негодные поросята! Учи их грамоте после этого.

Рыков степенно вернулся за своим саквояжем, прочие робкие белогорцы, в основном женский пол, хоть и поняли, что стрельба не боевая, — бежали с кладбища без оглядки...

Двадцать пятого августа из Павловска в Кисляй эвакуировали все учреждения и канцелярии, а через четыре дня в оставленный красными город входили казаки Вешенского, Мигулинского и Гундеревского полков.

Щерба въезжал в покоренный город. До этого были селения, хутора и прочее захолустье. Если попадался город (вроде Богучара), то в нем еще царила бранная суета, последствия торопливого бегства, погром, подавленность, неуют. А тут блестяло солнце на политых водою камнях мостовой, радовали глаз целехонькие стекла в каменно-кирпичных стройных рядах домов — и, самое главное, благовест. Город успел подготовиться к приходу новой власти.

Алексей принял букет из рук восторженной девушки, сунул его под уздечку, за ухо своей Матильды. Он не раз вспоминал добрым словом отца, отправившего юного гимназиста Щербу в манеж, навыки пригодились. Рядом ехал Ставров, сыпал улыбки по сторонам, Алексей впервые видел его таким счастливым. Их добровольческая рота не была влита в казачьи соединения, билась с ними рядом, бок о бок.

За эти месяцы Щерба многое узнал о Ставрове. Пока пробирались они на Дон, Алексей слышал историю о «язвах» на лице Ставрова. Вначале Платон рассказал ему о гибели своего дома и родителей, потом перечислил все стычки и облавы, которыми травили их отряд местные мужики. Дворянский отряд быстро растаял, разбежался, был разбит. Ставров пустился на юг, как и собирался, давая обет у раки с мощами святого. На станции Лиски ему попались досужие люди. Стали допытываться, откуда и что, признали в нем бывшего офицера и дворянина. Он стоял до последнего, кричал, что всю войну прошел вольноопером, называл участки фронтов и фамилии своих командиров: ротного, полуротного, взводного и отделенного. Приводил иные доводы, офицерства своего не признавал, даже когда ковыряли ему лицо раскаленным на костре штыком...

Узнал Щерба многое о нем, но так и не смог сдружиться. Держался по привычке рядом, ведь вместе они были приняты в отряд, — или это Ставров не отпускал от себя Щербу?

— Помнишь, Алеша, этот город в мае, когда мы встретились? — гомонил без умолку Ставров. — Грязь, мрак, запустение... А теперь? Город переродился. Здравствуй, Павловск! Свидетель наших мытарств и нашей с Алексеем дружбы.

Он потянулся из седла и обнял за плечи Щербу. Его давний попутчик не испытывал того же восторга, но руки Ставрова не убрал, хотя и хранил холодность.

Вместе они отстояли в храме на благодарственном молебне, вместе пошли в открытый заново кинотеатр. У входа толпилось десятка два казаков, внутрь их не пускали. Администратор из гражданских и долговязый военный с капитанскими погонами терпеливо объясняли:

— Вход только для офицерских чинов.

Казачья среда бурлила:

— Как при старом режиме.

— Воевать вместе, а веселье — порознь.

— Дорожку, господа казаки, дорожку, — добродушно покрикивал Ставров, продираясь через толпу.

Внутри кинотеатра он скривил лицо, кивнул в сторону шумящих людей:

— Последствия революции. Еще долго будем их на прежний лад перековывать.

В фойе было накурено, пахло кофе, терпким дешевым вином. Офицеры пьянели от нескольких бокалов и легкой сегодняшней победы. Стоял гомон, веселая бравада, сдержанный смех. Послышался мягкий, почти театральный звонок. Офицерство, допивая напитки и обрывая нерассказанные истории, неторопливо потянулось в зал.

«Иллюзион» пережил времена запустения безболезненно: кресла стояли целехонькие, хоть и немного запыленные, как и нестиранные гардины по углам, но полы были вымыты, пыль с поверхностей и светильников стерта. На сцене оказался тот же администратор, что проверял публику на входе:

— Господа! Я рад приветствовать вас в день освобождения Павловска в нашем скромном заведении! Мы начинаем наше праздничное представление! Я желаю вам, господа, приятного вечера и веселого настроения! Мы рады представить вам новое парижское развлечение — бууур-леееск! Впервые он прогремел на весь свет в американском Чикаго! Итак, встречайте! Прямиком из Парижа, — выдавил конференсье милую саркастическую улыбку, — великолепная танцовщица Лууу-лааа!

Вместе с поплывшим в стороны занавесом из-за кулис врезала бодренная мелодия. И танцовщица появилась бодренькая, со страусовым пером в искусственных волосах и обильным макияжем. Бывший судовладелец Нарцев, а с ним еще несколько почетных горожан, попавших на этот закрытый праздник, узнали в танцовщице Людку — местную проститутку для состоятельных.

Половину неширокой сцены перегораживала водруженная на стулья дверь с матовым стеклом, вторую половину — натянута тюлевая занавеска. Из-под двери виднелись голые до колен ноги танцовщицы и ее голова с обнаженными плечами. Размытый силуэт плохо просматривался через стекло с разводами, но когда «Лула» переходила на ту половину, где была натянута штора, публика возмущалась, редкими криками давала понять, чтобы она снова танцевала напротив стеклянной двери.

Тапер за пианино, бывший безработным с тех пор, как закрылся «Иллюзион», рад был возможности подзаработать, хотя невольно сканивал взгляд на девушку, мазал мимо клавиш. Администратор шипел ему на ухо:

— Смотри в ноты, каналья! Не порть мелодию.

Щерба скривился, как от зубной боли, едва выбежала танцовщица. Ему не по душе был кабацкий свист и восторг зала, кивки и перемигивания гражданских. Он сидел, не глядя на сцену, бродил взглядом по занавескам кулис и краю синематографического экрана, ждал окончания номера. Музыка пошла к финалу, и Алексей посмотрел на сцену. Напоследок Лула прислонилась вплотную к стеклу,

четко проступило размазанное о прозрачную поверхность тело. Щерба покинул зал. Снова всплыли в памяти карнавальные прически, костюмы и маски, выгнавшие его из парикмахерской в окопы.

Ставров попытался удержать друга, но не настойчиво. Он опустил обратно в кресло, активно присоединил свои аплодисменты к хору рукоплесканий и вновь почувствовал запах подгнившего мяса у себя во рту. За последний год зубы его поизносились, между ними стала застревать пицца, и в последние месяцы он чувствовал, как в нос ему шибает тухлятиной. Сегодня он подумал: «А если это я сам гнию изнутри, как селедка?»

Зал бывшего синемаатографа еще не слышал таких продолжительных аплодисментов, filmy значительно уступали танцовщице в формах. Лулу звали на бис, не желали отпустить. Она выскочила, снова раскланялась и шлепнула о дверь задком, по стеклу расплылись круги ягодиц.

Отзвенели колокола благовеста, слова благодарственного молебна, праздничные речи высоких чинов и веселенькие мелодии в кинотеатре «Иллюзион». С вечерними сумерками настало время расправ. Как в руки к белым попал председатель Павловского исполкома Башкиров, оставалось загадкой. Почему не ушел вместе со всею верхушкой? На что надеялся? По городу выдернули из квартир несколько менее знатных большевиков. Их скопом отправили в Богучар и там расстреляли в привычном и глубоком овраге за городской тюрьмой.

Прошел день, настала очередь Щербы и Ставрова идти в караул. Казаки и конные добровольцы день и ночь патрулировали донской берег: опасались засланных под видом крестьян разведчиков, скрытного проникновения красных на левый берег или подготовки к масштабному форсированию. Со дня взятия Павловска не стихала оружейная пальба. Богучарский полк оседлал Белогорские холмы и постреливал по городу из пары трехдюймовок. Казачья неполная батарея в три ствола им лениво отвечала.

Ставров за летние бои выслужил погоны подпоручика, но оставался в их роте простым бойцом. Были у них и прапорщики, были даже поручики, но и для них не хватало командирских должностей. Хотя по сравнению с весной, когда роты и взвода сплошь состояли из офицерских кадров, соединения наполнились обычными рядовыми — добровольцами из городских мещан, гимназистов, служащих. Появились и мобилизованные крестьяне, кто охотой, кто неволей загнанный в ряды.

Щерба слышал разговор одного такого мобилизованного со Ставровым:

— Вот, ваше благородие, прогоним красных, какая жизнь наладится? — робко спрашивал он.

— Ты про землю интересуешься? — равнодушно уточнял Ставров.

— Известно, про нее самую. Нам земляца — первая нуждишка.

— Учредительное Собрание решит.

— Опять «за рыбу гроши»? Его ж по зиме схоронили, на кой опять воскрешать? Дело прошлое, да и пропащее.

— Ну, не твоей серой головой такие вещи решать, — терял терпение Ставров, немного раздражаясь.

— То-то понятно, — покорно соглашался крестьянин, — только для дела ваш... нашего призвй важен. Красные, хай им сто чертей, верный призвй кинули: землю меж хлеборобами поделить. Надо-ть и нам так, чтоб не хуже их быть, чтоб за нами правда была.

Ставров хмурился, отвечал незначительное, беспечно отмахивался от зудевшего крестьянина. Он думал о Людке, поменявшей с легкой руки конферансье свое имя на Лулу и не знавшей отбоя от поклонников, думал о том, как попасть к ней, минуя очередь из крупных армейских чинов, думал, как отыскать в этом захолустье хорошего дантиста и набить свой рот железными зубами.

За недальними кустами посыпался ропот, девичьи торопливые объяснения, мальчишеский плач. Показался пеший казак: высокий, сухой, жилистый, в подстриженной бороде. За шкирку он тащил щуплую девушку лет семнадцати и белобрысого отрока. Те шли покорно, не упирались, только мальчик размазывал по щекам слезы. Щерба знал этого казака, фамилия ему была Тальков.

— Ваше благородие, — обратился Тальков к Ставрову, — разведку споймали.

— Кто такие? — без злобы спросил Ставров.

— Корову ищем, дяденька, — залепетала девушка. — С Дуванки мы, корова вечером не вернулась с череды, полночи шукали, и теперь вот покою нету...

Щерба сразу распознал в ней не местную. Она талантливо поддельвала здешний говор, но сквозило в каждом слогое гимназистское правильное ударение, твердость отдельных звуков.

Спутник девушки молчал, плакать стал отчаяннее и громче. Ставров водил глазами по их лицам.

— Ты чего реवेशь? — спросил он отрока.

— Говорил ей, чертовке, не ходи к казакам близко, вот поперлись...

Девушка метнула в его сторону гневный взгляд:

— За коровой он жалкует, дяденька. По миру пойдем без коровы.

Пара была вовсе не из Дуванки. Девушку принесло на донские берега из Донбасского уездного города вместе с отступавшим красногвардейским отрядом. Вчера он влился в Богучарский полк, девушка сама вызвалась идти в разведку. Ей в компанию дали белогорского парнишку-добровольца, места и названия урочищ по левому берегу он знал, в Дуванке была у него родня, и он смог бы назвать их своими родителями в случае чего. Но вот случай представился — и парнишка скис, впервые поняв, что игры в войну могут нести розги и смерть.

Их на рассвете перевезли через Дон на лодке, высадили вдаль от селений на безлюдном берегу. Назад наказали плыть самостоятельно, лодки не искать. Девушку все время пугала их обратная дорога, а не эта миссия на переднем крае врага. Она выросла в степи, воды почти не видела, плавала с трудом. Парнишка, спутник ее, чье детство проходило на широкой реке, беззаботно шел по лугам и урочищам, издали пересчитывал верховых людей в казачьих разъездах, помнил о командирском наказе все подмечать и запоминать.

Ставров тоже почувствовал фальшь в словах девушки. Он смерил взглядом ее неказистую фигуру, неровно в памяти проявились полные формы Лулы, прильнувшие к матовому стеклу. В нос опять накинulo подгнившим мяском. Он цвиркнул слюной сквозь зубы, попытался нашарить языком застрявшую пищу, через секунду распорядился:

— Отпусти их, казак.

Тальков захлопал глазами:

— Может, этой секелявке хоть плетей ввалить, ваше благородие?

Ставров поманил к себе Талькова, нагнувшись с седла, негромко сказал:

— Вашему полку директиву зачитывали? Постановление штаба: не допускать действий, могущих повлечь к настраиванию местного населения против казаков. Отпусти, сказано.

Щерба видел, как засветились умные глаза девушки, наверняка расслышавшей негромкую речь Ставрова.

— Чеши, ссыкуха! Щенка своего забери... и чтоб на глаза больше не попадалась, — отвесил отроку слабый подзатыльник Тальков.

Ставров вытащил из ножен бебут¹¹, подъехал к вязу и выстругал из тонкой ветки зубочистку.

¹¹ Армейский длинный нож.

Когда открывали памятник Богдану Хмельницкому, в тот же год среди холмов киевского пригорода Зверинец был обнаружен провал в пещеру. Послушница Выдубицкого монастыря увидела после дождя радугу и пошла к ее основанию. По весне вместе со снегом сползла земля в одном из яров — открылось древнее подземелье, а в нем — раки с мощами и монашеские усыпальницы. Все нетронутое, как было погребено в год великого пожара и запустения — в год, когда пришли на эту землю кочевники с востока.

В лето тысяча девятьсот восемнадцатое надземный Зверинец снова полностью выгорел.

Администрация начала расследование, но его результаты ничего не дали, остановились на неосторожном обращении с огнем. Охраной складов затеялась утилизация старых документов, и огонь был упущен. В пику официальной версии народная молва разнесла: «Большевицкие штучки, их рук дело».

Киевскую крепость после катастрофы решили упразднить, а выгоревший Зверинец гетман велел застроить административными резиденциями и корпусами нового университета.

В первые часы катастрофы на помощь пришли юнкера Инженерного училища. Они свозили пострадавших в свои помещения, размещали в лазарете. Кроме пропитания пострадавшим давали направления на медицинскую помощь и временное поселение. По городу началась мобилизация медиков, санитаров, работников Красного Креста. Только тяжелых раненых оказалось более тысячи.

Виктория отправилась в ближайший госпиталь на следующий день после похорон бабушки. Помогли соседи: отнесли заявку в возобновленное земство, принесли немного денег Горский, навещавший ее ежедневно. Хвостова рыдала над гробом двое суток, потом крепко спала всю ночь после поминок, а наутро поняла, что спасется от тоски в работе. Ее провожал на службу Виктор Павлович, пока Вики не было — охранял лишенное окон жилище, доставал откуда-то стекла, ставшие огромным дефицитом, приводил за рукав стекольщика (и это тоже было не просто — скляров не хватало на огромный город), медленно правил окна. На ночь не оставался, с приходом Вики почти сразу уходил. Она съедала заготовленные им продукты, почти равнодушно думала: «Должно быть, ждет, что я его пригласу».

Она продолжала жить в доме покойной бабушки, хотя никаких прав на него не имела, пользовалась неразберихой в документах всего города, возникшей после бедствия.

Спустя неделю огромным пожаром охватило Подол — и снова по неизвестной причине. На счастье, стих ветер, и огненную бурю удалось остановить. К бездомным с пожарами на Зверинце присоединилось еще десять тысяч обескровленных с Подола. В дом к Вике подселили семью, где было двое взрослых и четверо детей. Она не жаловалась, радуясь тому, что у нее не спросили: по какому праву мадам Хвостова здесь вообще обретается.

Из России продолжали прибывать поезда, население Киева разбухло чуть не вдвое. Теснотой в жилищах уже было никого не смутить. Город бурлил и на эти мелочи не обращал внимания. Открывались биржи и игорные дома, возникла масса притонов и домов свиданий, днепровские пляжи пестрели купальными костюмами, по скетинг-рингу катались на роликах гимназистки и германские офицеры.

Все лето под Киев приносило ветром слабые, заглушенные дальностью удары пушек, а на окраинах можно было слышать хлопки винтовок или кваканье пулемета — бушевала против налогового террора деревня. Столицу отрезало от остальной Украины восставшими очагами. Деревня пылала неутолимой злобой против гетмана, вернувшего землю помещикам.

Однажды ночью постучали в окна Викиных соседей по квартире. Она слышала возню в коридоре и тихое перешептывание у дверей. Потом осторожно поскреблись в ее комнату, глава подселенного к Вике семейства сказал через дверь:

— Виктория, я бы хотел попросить вас... У нас прибыл из деревни родственник, ему негде переночевать... Вы не против?

Хвостова от новости неприятно зажмурилась:

— А он правда только на одну ночь?

— Да-да, завтра он подыщет себе приют, — поспешил заверить сосед и ушел открывать, хотя Вика не успела дать прямого согласия.

Ее беспокоило не то, что неожиданный гость останетя здесь больше, чем на одну ночь, а само его присутствие, его туманная личность и факт Викиной незначимости. Она больше не хозяйка в бабушкином доме.

Подкравшись к двери, Вика приоткрыла ее, стала прислушиваться. Гостя провели на кухню, звякнул столовый прибор, какая-то посуда: видимо, решили угостить с дороги. Вопросов мадам Хвостова не расслышала, но ответы гостя, как он ни пытался смирить свой голос, долетали в отворенную Викой дверную прорезь. Он говорил на русском, с глухим провинциальным акцентом:

— По зиме еще, до немцев, фольварк мы барский всей деревней растянули. Ну, вы знаете — за версту от нас. Теперь вернулся из заграницы барин, навалилась к нам цельная рота их, а может, и батальон. Пошли хаты шерстить. За икону к нам пруссак полез, а там у меня шкатулка золотенькая. Взяли они ее и меня с ней к барину на смотрины. А на фольварке нашей деревни — скопы. Руки позакручены, креслица нежные да зеркала — перед народом грудками лежит, что у кого нашлось. На крыльце диван стоит, немец главный на нем, по правую его руку барин наш веселится. Грушко нашего притянули, он в войну до подпоручика выслужился и в грабеже не участвовал: на фронте еще был.

— А за что же его? — донесся тревожный возглас соседки.

— У него в доме природную вещь нашли, немецкую — из-под Кенигсберга. Картину фамильную, янтарем выложенную, Грушко ее там из порушенного дома вынул, а в этом батальоне, что нас казнить пришел, как раз тот самый прусский граф служил. Признал он добро семейное, Грушка застрелил принародно... На том и кончилось. Барину Грушкова кровь вроде как глаза промыла, помиловал он нас, велел немцам руки наши ослобонить, распустили по домам. Да народ ему не простил, попривыкли мы без панов... Запылали от немецкой руки через неделю вся деревня. Я еле старуху выволок, а уж худоба и добро — все в небо дымком, Господу жаловаться...

Рассказчик умолк, только слышно было, как он прихлебывает. Потом он снова протискивал свой разговор, разбивались и глохли слова сквозь непрожеванную еду:

— Я старуху на сестру оставил, а сам к тетке. У них в деревне с немцами совсем иное житье, как мне сначала показалось. Немцы наших баб уважают... Пришли как-то трое. Тетка лапалась-лапалась — да первого в камору увела. Я двоих с печи пристрелил, рука с войны еще не отвыкла. Тут и тетка из каморы веселая, и дядька с ней.

— Где ж они зараз? — голос соседа.

— Тоже по родне скитаются, как я... Бабы немцев варениками с крысыим мором берут. В той же день всей деревней хаты подпалили и ушли. Нигде немцу не загоститься...

Вика прикрыла дверь.

Дом и хозяйство ее постепенно пришли в порядок, новые сожители не сидели без дела, как могли, налаживали быт. Пациентов в палаточном лагере, где она служила, день ото дня становилось меньше. Вика с трудом представляла тот момент, когда госпиталь ее закроется, ведь работа была временной.

Горский теперь надолго исчезал, не появлялся неделями. В тот вечер он пришел с пакетом подарков, закусок и вин, но вид его был не праздничный. Днем, в присутствии гетмана, была отслужена панихида по императору и всей его семье. Виктор Павлович налил вина:

— Я бы хотел выпить не чокаясь, поминальную.

Виктория удивленно приподняла брови:

— За невинно убиенных? Не думала, что вы монархист.

— Дело не в политических предпочтениях, — возразил Горский. — Сегодня, Виктория, я видел, как русские люди на русской земле снова могли свободно молиться о русском царе. И все только потому, что этот русский город был занят вражескими войсками. Ужасная нелепость...

Он опрокинул фужер до дна и тут же заговорил об ином:

— Вы думали, куда пойдете после того, как ваш временный госпиталь расформируют?

— Пока нет, — не сразу ответила она.

— Могу составить вам протекцию в немецкий лазарет.

Виктория гневно сверкнула глазами:

— Ни за что!

Она секунду колебалась, говорить ли следующую фразу, и все же, не боясь оскорбить его, добавила:

— Не хочу быть проводником в ваших делах, Виктор Павлович.

Горский был растерян:

— С чего вы взяли?.. И откуда такая осведомленность о моих делах...

Вике было жаль его, но она понимала, что если сейчас не выскажет все до конца, то он так и будет ходить сюда, приносить вино и закуски, спрашивать о ее здоровье и делах.

— Мой муж ушел сражаться с немцами и наверняка где-нибудь до сих пор бьет с ними. Я не хочу нивелировать его работу.

Горский опешил:

— Виктория... Я был уверен, что вы склонны помогать любому нуждающемуся, даже если он враг.

Виктор Павлович растерял свою твердость, лепетал о гуманизме, и Виктория видела, что попала в цель: Горского шокировало не то, что она не согласна лечить раненых немцев, а ее настойчивая память о неизвестно где пропадавшем муже. Хвостова попыталась прийти Горскому на помощь:

— Я намерена идти в дом умалишенных. Многие наши собираются туда, говорят, что работа тяжелая, но там недостаток персонала.

— Ну вот, — с видимым напряжением успокоился Горский, — а говорили, что не думали о моменте, когда ваш госпиталь расформируют.

Он вскоре ушел и не появлялся дольше двух недель. За это время Киев сотрясся от очередной беды. В Главнокомандующего немецкими войсками на Украине Эйхгорна бросили бомбу. Киев снова наполнился паникой, шли массовые аресты. Горожане толковали: «Немцы, конечно, спасли нас от большевиков, но их надменность, чванство, жестокость, презрение к нам заслуживают эту эсеровскую бомбу. Деревню они выжигают, скоро нам самим ничего не останется». Многие открыто злорадствовали на улицах: «Таки убили! Очередь за Скоропадским!»

К торжеству возмездия примешивался страх скорых репрессий. Бродили слухи о карательном обстреле Киева германской артиллерией. Прошло два дня с момента взрыва, но город обстрелу не подвергся. Вечером, когда состоялось отпевание Эйхгорна в Лютеранской кирхе, Горский появился у Виктории.

Она поила его чаем, а он рассказывал ей новости с просторов Украины, как раньше:

«Очередной взрыв на складе, теперь — патроны в Одессе. И снова «по неизвестной причине», но по тому же «киевскому» сценарию. Говорят о следе Антанты в этих делах, подозревают французскую дипломатию в Кишиневе и итальянскую в Яссах.

Подливая себе и ему в чашки, Вика думала: «А ведь он ко всему причастен, но делает вид, будто это сторонние вещи».

Горский угощался белым бурсаком, делился дальше:

— У Скоропадского новый конкурент. Нет, не Петлюра и не Махно. На это раз — некий Васыль Вышиваный, всего лишь полковник украинских сечевых стрельцов. Болтают, что в действительности это австрийский князь Вильгельм фон Габсбург, и он претендует ни много ни мало на украинский престол! Он сын адмирала и родственник австрийского императора, с тринадцати лет жил в Галиции, изучал польский и украинский языки. Его войско приняло участие в наступлении на Херсон, Никополь, Александровск, и теперь он в центре европейских интриг. Австрия и украинские политики с Галичины надеются на воцарение Васыля-Вильгельма. Церковники тоже за него. Но Германия, кажется, против, а Скоропадский засыпает Вену нотами протеста и требует отзыва своего конкурента с Украины.

— Вы пришли именно за этим? Чтобы поговорить о новом украинском монархе? — не выдержала Вика, сохраняя спокойный тон.

— Нет, проститься.

«Точно замешан! Потому и бежит из города», — Виктория знала, что убийцу Эйхгорна взяла на месте преступления, он дает показания в тюрьме и ждет казни. Горский мог быть ближайшим сподвижником решившегося на громкий теракт человека, но это не придало ему блеска в ее глазах.

— Хотите, я провожу вас? — невозмутимо спросила Вика, хотя понимала, что он ждал от нее совсем других слов.

— Что вы, в городе снова комендантский час, — испугался Горский.

— Не думаю, что патруль стоит у меня под дверью, — резко поднимаясь из-за стола, сказала Виктория. — Уж до угла я смогу вас довести.

Августовская ночь гуляла над городом, из дворов редко лаяли собаки. Хвостова и Горский прошли к перекрестку в молчании. К ним наплывал траурный марш оркестра, сквозь него слышалась четкая поступь сотен дисциплинированных ног и цокот копыт. Из Лютеранской кирхи в сторону вокзала везли гробы с останками Эйхгорна и его адъютанта — тела должны покоиться на родине. Две огромных гаубицы с деревянными ящиками на лафетах в окружении стройных рядов артиллеристов, пехотинцев и кавалерии. У каждого в руках по факелу. Плясали блики на отдраенных стальных шлемах, начищенных пуговицах, погонах, пряжках ремней, бросая медно-зеленый отлив. Огненная змея, повторяя изгибы киевских улочек, медленно ползла к вокзалу. У калиток и подъездов стояли редкие смельчаки, любопытством выгнанные на улицу.

Горский с торжественностью произнес:

— Теперь и мы не хуже Москвы, ухлопавшей Мирбаха.

— Господи! Ну скажите хоть раз в жизни то, о чем вы думаете на самом деле! — взорвалась его спутница.

— Я боюсь за вас, Вика, — тихо сказал он. — Я мог бы здесь остаться и еще пригодился бы... Положение мое не такое шаткое, чтобы бежать. Но я люблю вас и поэтому оставляю.

Он поцеловал ее руку, хотел отпустить и идти, но вместо этого сжал сильнее:

— Позвольте мне всего одну вещь...

Она не разрешала, не гнала его прочь, она молчала и смотрела ему в глаза.

— Если я переживу все власти и перевороты, все войны и революции, то по-

звельте мне всего лишь попытаться найти вас. Я не прошу у вас ответной любви, я не прошу небеса убить вашего мужа... Я прошу только этого.

Виктория продолжала молчать, свет уплывавших факелов дрожал в ее влажных глазах.

ГЛАВА XXXII

Громыхавшая до этого по Украине и в казачьих донских степях гражданская война вплотную придвинулась к Белогорью. Со времен крымско-татарских набегов не знали здешние земли бранных звонов, смешанных с боевым кличем. Давно истлели в прах первые поселенцы, отвоевавшие эти плодородные черноземы у татарской степи, и даже память о них растаяла.

По-разному встретила слобода войну. Фронтовики сидели под навесами, следили, чтоб вблизи двора не лопнул снаряд, пущенный с той стороны Дона, будто слезка эта могла уберечь от беды. Робкие и боязливые попрятались в хатах, залезли в погреба. Старухи по целым дням не вставали с колен перед иконами. Детвору загнали по домам, не выпускали даже на двор. В хаты, как в лютую стужу, занесли поганые ведра и справляли в них нужду. Сорванцов постарше было не удержать, они взбирались на крыши сараев, на высокие деревья, с жадностью следили за каждым шлепавшем по слободе снарядом.

На второй день пушечной пальбы дальний краешек Мышутьевки вспыхнул пожаром. Выгорело подчистую три двора: Босовы, Коробейниковы и Пащенко, а у Шендриковых и Бакаловых сгорели гумна с немолоченным, свезенным с полей хлебом.

Этим же днем, к вечеру, прибыл в Белогорье нашумевший отряд анархистской вольницы, названный по имени командира «Сахаровским» или по месту формирования «Волчанским».

Про Сахарова ходили кривотолки: будто он на пару с Саблиным поднял в январе восстание против большевиков, хотел создать левосеровскую республику. В то время правительства нарождались, как грибы после дождя: Одесская, Таврическая, Черноморская, Донецко-Криворожская и так далее, несть числа тем кратковременным республикам. Потом Саблин одумался, примкнул к большевикам, а Сахарова якобы арестовал сам товарищ Кессель, главком Донецко-Криворожской армии, и он же руководил расстрелом анархиста. При этом одни говорили, что случился расстрел в Уразово, другие — в Купянске, третьи — в Валуйках. Волчанский полк, сколоченный Сахаровым, частично разоружили, дюжину самых отчаянных из личной охраны атамана тоже отправили «в Могилевскую губернию»¹². И неожиданно Сахаров воскресал. Выныривал из степей близ Острогожска, номинально подчинялся тамошнему ревкому, но за Волгу на чехословацкий фронт убывать не хотел, отряд его бездельничал и мучил воду.

Слободской житель этих вестей не знал, хотя про отряд «волчаков» слышал, когда уходил он от Россоши на Острогожск, утекая по весне от немцев. Теперь вернулись эти самые «сахаровцы», ненасытные в дебоше и грабежах, в их фронтową местность, прокатились разношерстной тысячей по слободским улицам, протарахтели в упряжках семь орудийных стволов, два из которых помахивали на ходу шестидюймовыми хоботами.

Весь вечер Сахаров искал себе удобную позицию и в сумерки, вытеснив часть богучарцев из Белогорского монастыря, открыл огонь по Павловску.

Наутро ехал к монастырю с казенным пакетом Максим Гадюкин, слышал нескончаемую орудийную пальбу и в проулках — дилетантские разговоры:

¹² Еще одно стойкое выражение той поры, означавшее расстрел или иной путь к могиле.

— Сахаров — анархист, незаконно сыплет снарядами.

— Шляпа, что ты понимаешь. На фронте был?

— Тишка-писарчук, а туда ж. Анархистской сутью полководческий замысел объясняет.

— Про диспозицию слышал? Богучарцы потому снаряды «экономили», что закрома у них пустые, а Сахаров пришел и белую артиллерию задавил. Попомни мои слова: к вечеру отобьет он Павловск у белых.

Максим поступил на службу в день прихода богучарцев из-за Дона. Он, как и добрая половина слободы, не удержался дома, пришел к церкви «поглазеть на похороны». Гадюкин знал, что гнало его не праздное любопытство, а желание увидеть бывших однополчан, с кем дрался в мае бок о бок, оберегая границы губернии от немцев.

Стояли в строю живыми Веремеев, Гетман, Червонный и Дудник. Максим увидел их и захотел спрятаться за спинами белогорцев. Он подумал, что, заметив его, богучарцы начнут упрекать, мол, почему ты не среди нас?

Гадюкин не пошел на кладбище, тихо покинул толпу, только тронулась процессия от храма. Он выждал время и заявился к своему соседу, жившему через пять дворов от Ульяны, — Андрею Калининку. Андрей сам был у него до этого, заходил узнать: что за человек поселился в доме Ульяны, кто таков?

— Да вы наверняка знаете, — неохотно ответил тогда Максим, догадавшись, что пришла к нему здешняя власть.

— Ничего не знаю, — весомо заявил Калининков. — Слышал, что отстал от красногвардейского отряда, а зачем отстал, почему не воюешь? Может, оставлен намеренно, чтоб шпионить. Вон белые к Павловску подбираются.

Андрей махнул в сторону Дона, ждал от неведомого человека оправданий, оглядок, слов. Гадюкин молчал.

— Документы хоть покажь?

— Какие по нынешним дням бумаги? — просто ответил Гадюкин, хоть и сохранились в его солдатском сидоре глубоко упрятанная паспортная книжка и удостоверение младшего офицера.

— Надо на учет становиться, у нас с июня волостной военкомат работает. Придешь в исполком, выправим бумаги... Так уж и быть — с твоих слов.

С той первой встречи Калининкова с Гадюкиным прошло больше двух недель. Максим ждал до вечера, был уверен, что Калининков проведит павших богучарцев до самого кладбища — служба обязывала. На пороге в хату ему попала красавица-молодаяка, которую встретил он однажды в вымоченных колодезной водой одежках. Он замечал ее после этого вдали на другом конце улицы, а вот так вплотную не упирался в нее с тех самых пор. Перед Максимом полыхнули медные серьги, выпавшая из-под платка прядка, стеклянные бусы на литой изящной шее. Он даже рассмотрел тонкие складочки у глаз с незабитой загаром кожей. Она растерялась, видимо, тоже его узнала — стояли секунду, оба молчали, потом Максим выдал:

— До мужа вашего, по служебной надобности.

Жена Калининкова растворила дверь из сеней в хату, жестом пригласила пройти. Внутри нее ковынуло: «Брехло. Слова из себя цедит, а они не его слова, будто по-другому он говорил всю жизнь, а тут переучиваться стал».

Гадюкин переступил порог. Председатель волысполкома сидел за столом, тянул из кружки кислое молоко, увидев Максима, немного насторожился, кивнул на свободный табурет, кружку от губ не оторвал, пока не осушил ее. Домашняя рубаха и кальсоны, а в особенности белые комочки простокваши на усах Калининкова чуть было не выдавили из Гадюкина улыбку, но деловая сухость, с которой он пришел к председателю, прогнала ее.

Остаток лета Гадюкин тяготился жизнью у крестьянки. Ульяна зашивалась в

каждодневной крестьянской карусели. Максиму было жаль ее, но он до поры себя оправдывал: ведь раньше она в одиночку с хозяйством справлялась. Ульяна не упрекала его, он навязывался с помощью, она ласково отвечала, что ничего не нужно, в крайности давала плечое поручение, почти всегда Максимом запоротое или выполненное не так. Ему хотелось куда-нибудь, лишь бы не в отряд к богучарцам, а мобилизация среди населения замаячила после вчерашних похорон.

— Проверьте меня, товарищ председатель, — с табурета проговорил Гадюкин. — Возьмите на службу, пошлите куда ни то, дайте задание. Докажу, что я не шпионить тут остался.

— А для чего ж тогда? — ухватился Калинин за последнюю фразу. — К бабьей юбке прирос?

Гадюкин сморщился:

— Что вы, товарищ председатель, все бабой попрекаете? Не через нее я остался...

Оба замолчали. Калинин ждал новых откровений: по какой такой причине Гадюкин покинул свой отряд. Максим снова молчал, как и в первую их встречу.

И вот теперь он вез казенный пакет лично самому Сахарову. Председатель волисполкома назначил Гадюкина связным. Максим чувствовал бесполезность своей миссии, он был наслышан о том, кто такой командир Волчанского отряда, и Калинин тоже не мог этого не знать. Зачем посылал Максима? Испытывал — или сжалился, внял его мольбе?

С монастырской горы чахкали пушки. На подъеме к обители сидела пешая заставка, Гадюкина остановили криком, воинственно защелкали затворами, узнали цель приезда и потянули уздечку на себя, потребовали отдать пакет. Максим умело поднял лошадь на дыбы, патрульный не удержал уздечку и выпустил ее, तोропливо кинулся в сторону от выросшей вдвое лошади.

— Пакет не отдам! — мигом выпрямился голос Гадюкина. — Не хотите к командиру пускать, так свезу пакет обратно в слободу. А трогать — не смей.

— Ладно, не шуми, — вырвалось у того, что хотел ухватить сбрую. — Мудоля, сбегай к командиру — доложи.

Через время Максиму дали право на проезд.

Монастырь пребывал в хаосе. Цветочные клумбы избородили колеса орудий и дуколок, из келий в распахнутые окна выброшен монашеский скарб — место освобождено под квартиры бойцов. Братии выделили второй этаж в гостиничном корпусе — и то расставили у коридорных окон по наблюдателю, так, что и здесь не было монахам покоя.

Настоятель лежал в недомогании, но больше переживали за помутненный разум инока Афинодора. Когда бойцы Волчанского отряда начали разбирать хозяйственные постройки, коверкать деревянную ограду да маскировать орудия в сараях и среди запущенного в последний год монастырского сада, Афинодор принялся цитировать псалтирь:

— Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живых...

Феликс, а с ним — бывшие рядом монахи в испуге стали уводить «кликушу». Он на этот раз не сопротивлялся, не буйствовал, покорно дал себя проводить. «Волчаки» на речи Афинодора не реагировали, бодренько проделывали дыру в заборе, Феликс слышал их веселые разговоры:

— Колокола намедни в городе звоняют и звоняют. Праздник, что ль, какой?

— Праздник... Беляков радуют.

— Ох, пустим из городских буржуев юшку, когда Павловск отобьем.

С приходом фронта слобожане коров в череду опасались выпускать, да и сами дворы покидали только по значимой нужде. Феликс остался без службы, сидел в монастыре, надеясь на крепость его стен. Нагрязнувшие «волчаки» веру в чью-либо крепость растоптали.

Впервые Феликс с такой радостью впитывал удары благовеста. На уме держал оптимистичную ноту: «Скоро сюда придут чтущие церковь люди! Да просто люди с элементарными нравственными устоями. Может, они и не вернут обратно монастырскую землю, но во всяком случае не дадут вымереть монахам от голода, накажут крестьянам поделиться с обителью продуктами, с их приходом точно станет лучше».

Гадюкин шел через монастырь, глаз его невольно цеплялся за детали. Он мельком увидел в кустах на краю сада неубранный труп, залитый снизу кровью, попытался взглянуть в искаженное смертью лицо.

Максима постовой проводил к дому настоятеля, где поселился Сахаров. В прохладной келье сидело с десяток человек: за столом, на стульях, на полу под окнами. Хлюст с черными усами хлебал постные монастырские щи, купая в них концы своих длинных лохм, свисавших из-под смушковой папахи. Упитанный лысый боец в тельняшке и черном блестящем цилиндре неторопливо крутил завертку размером в собачью ногу, цепь на его шее была такой толщины, что если захочешь сорвать, то скорее отрежешь ей голову, нежели разомкнешь звенья. Щеголь в вышитой галуном нарядной куртке, какие Гадюкин видел на гетманских офицерах, пил из настоятельской кружки квас, отрывался, вылавливал пальцами плававшую муху, выбрасывал ее и пил снова. Жирный боров в кожаных штанах и коротких сапожках тоже хлебал раскаленные щи, пот струился из него, он чесал влажную грудь в мелком рыжем волосе, откашливался и сплевывал на пол.

Гадюкин скользил по личностям, отыскивал среди них командира. Остановился на одном, одетом скромнее всех, с лицом умным и пронизательным, давно смотревшим на Гадюкина и ожидавшим вопроса.

— Товарищ Сахаров? — спросил Гадюкин, глядя ему в глаза.

— Мимо, офицерик, — поднялся из громоздкого кресла невзрачного вида брюнет в зеленой атласной рубашке и с перевязанной бинтом головой без пятнышка крови. — Промахнулся ты, а вот я в точку попал. А? Признавайся: носил погоны с просветом?

— Вам пакет от председателя Белогорского волисполкома, — проигнорировав вопрос Сахарова, протянул Максим запечатанный конверт.

Командир Волчанского отряда принял письмо, тут же протянул его толстяку с голым торсом:

— Сухарь, возьми на завертку.

Тот вылил через край миски остатки щей себе в распахнутую пасть и, оторвав от пакета полосу и запустив пальцы в лежавший на столе кисет, тут же принялся исполнять приказание.

— А это, с кем ты меня попутал, — указал Сахаров на скромно одетого, — есть мой начштаба.

«Скромняга» по давней офицерской привычке чуть заметно наклонил голову, представился:

— Макабре.

«Еще один скрывающий свое истинное, крестильное имя», — пронеслось в голове Гадюкина, и вдогон: «Мы возвращаемся в язычество. Есть “тайные” имена, коими наградили нас родители, и есть имена для повседневности, для маскировки, для глаза — их мы прилепили сами себе. Страной правят псевдонимы... Кто это сказал?..»

— Видал, каков? — все не мог нахвалиться Сахаров своим заместителем. — Толковый детина. Свита делает короля! Послушай, офицерик, как резолюции надо составлять. Читай, Макабре. Чего мы там нынче постановили?

Начштаба расправил документ:

«Первое: выражаем благодарность пулеметной команде во главе с начальником тов. Момандрыкиным как особенно отличившейся в бою. Второе: клеймим позором начальника кавалерии Ивана Мельниченко, бежавшего при первых выстрелах и оставившего своих товарищей на произвол судьбы. Третье: приветствуем командира полка тов. Сахарова за энергичные действия в бою, и еще раз выносим порицание отдельным кавалеристам за то, что они проехали и не подобрали контуженного командира полка, и благодарим пулеметчиков, подбравших его. Четвертое: напоминаем товарищам, занимающимся какими бы то ни было реквизициями, что они без всякого предания суду будут расстреливаться своими же товарищами. Пятое: заслушав доклад некоторых товарищей о поступках лиц, имеющих деньги, доходящие до десяти тысяч рублей и больше, мы, солдаты социалистической Красной Армии, постановили отобрать таковые, если они превышают одну тысячу рублей, и передать их в полковой фонд. Все параграфы резолюции принимаются единогласно. Председатель: Лебедев. Секретарь: Шматько».

На первых же строчках Сахаров заскучал, достал расписанную под гжель бронзовую табакерку, открыл ее, зачерпнул длинным ногтем мизинца щепотку белого порошка и втянул в себя через ноздрю. Хотел проделать это и со второй ноздрей, но табакерка уже опустела.

— Скавронская! — крикнул командир отряда в сторону лестницы.

Гадюкин миссию с доставкой пакета выполнил и мог быть свободным, его никто и ничто не держало... кроме любопытства. Он ждал, кто же появится на клич командира: неужто и вправду женщина?

Лестничные ступени на втором этаже неторопливо заскрипели.

— Да живей ты, Курвляндия! — добавил командирской нотки Сахаров.

Шаги сверху не утеряли своей размеренности. Сначала показались растоптанные полусапожки с расчихнутыми, не зашнурованными голенищами, затем довольно полные икры в черных чулках, кружевная оборка нижней юбки, запыленный подол юбки верхней, широкие бедра, затянутые малиновым жакетом бока, студень нетвердой груди и по ней — пляшущее ожерелье из бус, маленькая симпатичная шляпка на крупной, коротко стриженной и весьма несимпатичной голове.

Никто в отряде не знал, как фамилия этой женщины (как и фамилий друг друга), звали только по имени — Мартой. Сахаров фамилию знал, но никогда ее не озвучивал, каждый день придумывая ей десятки фамилий.

— Золотце, что там у нас с запасами? — промурлыкал командир.

Марта тревожно положила ладонь между размякших грудей, мешки под ее глазами тревожно вздрогнули:

— Последняя склянка осталась...

Сахаров требовательно постучал в дно пустой табакерки:

— Давай, детка, не жадничай.

— Мишель, надо экономить... Я тысячу раз...

Командир «волчаков» легонько стукнул по столу:

— Сыпь сюда, Курвляндия!

Марта потянула цепочку на шее, из глубин декольте появился парфюмерный пробник с надписью «бесплатно». Пока содержимое склянки перетекало в табакерку, Сахаров схватил жену за свисающий бок:

— У, Ожирелье мое, ненаглядное.

— Тихо, Мишель, рассыплешь...

За столом перестали жрать, тихо следили за худой струйкой белого пороха. Сахаров вытаскивал новый четвертной билет, разминал его ребром мелкие комочки, приговаривал:

— Слабеджио... Дрянной порошок! Наверняка польский.

Окружение его пожирало табакерку глазами голодных псов, только языки на улицу не вываливали, жаждали хоть такого «слабеджио». Но каждый понимал, что в склянке у Марты мало, хватит максимум на двоих. Командир достал из кармана зубочистку из гусяного перышка, бормотал под нос:

— Вот немецкого бы марафету, фирмы «Марк»... «Балтийский чай» с него получается... Сутками после не спишь... Раненые боль не чувствуют. При мне одному врач руку резал, тот даже в обморок не упал, лежал спокойненько...

Сахаров забил порохом обе ноздри, блаженно закрыл глаза. Окружение поняло: командир будет делать второй заход, пороха можно не ждать, но нервная струна среди них не ослабла, надеялась на последнюю «волю императора». Сахаров открыл глаза, протянул зубочистку стоявшему истуканом Гадюкину:

— Хлебни ветру, вьюнок.

Сахаров сам не утолил жажду вдосталь, ему хотелось добавки, но он любил смотреть на тех, кто впервые пробует белый порошок, — как опытная блудница любит редкой ночью побаловать себя нецелованным мальчиком.

Максим склонил лицо над табакеркой, шумно втянул воздух пополам с хлопьями белой пены. Верхнюю десну его обожгло морозом, внутри черепа лопнул маленький фейерверк.

— Ну как, в макушку накидывает? — участливо спросил Сахаров.

Гадюкин не торопился с ответом, не чуял онемевших ноздрей, прислушивался к новым звукам в ушах и новой палитре красок перед глазами. Окружение Сахарова тоже замерло, перехватило от своего командира щемящее любопытство. Неожиданно взвилась Марта:

— Мишель, как ты мог меня оставить?

Сахаров вскочил с кресла, затискал жену в объятиях:

— Не зуди, Скавронская! В Павловске еще добудем! Тряхнем аптекарей!

И мигом обернулся к Гадюкину:

— Пойдешь с нами в бой, вьюнок?

Максим видел перед собой шестигранный зрачок Сахарова, шевелил онемевшими ноздрями, как бык с только что продетым через нос кольцом.

— Пойду, — проговорил он, чувствуя, что кинь перед ним сейчас Сахаров мокрую тряпку и спроси «вымоешь пол?», он и на это будет согласен, потому что в руках и ногах его занималась дикая пляска. Ее хотелось быстрее унять, бежать неважно куда, делать неважно что, лишь бы не стоять.

— Макабре, рисуй диспозицию! Грех, собирай людей! — сыпал Сахаров приказами.

Полетело все вверх дном, и эта суета вырвалась за стены настоящего дома, пошла кружить по монастырю. Неслись лошади, звякало оружие, орали впопыхах люди. Артиллерия продолжала крыть через реку по городу, но теперь Максиму казалось, что каждый выстрел поет на свою особинку и не бывает в мире двух одинаковых хлопков. Из Павловска отвечали все реже. Разорвалось над монастырским двором шрапнельное облако, свистнули нараспев осколки. Один впился большому колоколу в покатый бок. Звон загудел над колокольной, монастырем, Доном, в голове Максима — и, как показалось ему, достал города.

На звук колокольного голоса обернулся молодой батареец, парнишка здешний родом, из соседней деревеньки Морозовки. Он помнил год, когда везли колокол к монастырю, как сломалась на шляхе кованая бричка, способная выдержать пятисотпудовую литую тяжесть, запряженная девятью парами волов. Долго стояла бричка с колоколом на бугре близ Морозовки. В ту пору был молодой батареец деревенским пастушком, гонял полями стадо и кидал с другими мальчишками камни в святых, отлитых на могучих стенах «Звона». Колокол глухо ругался, звук

его гас под куполом и не разлетался по округе. Но когда довели его к монастырю, с великим трудом подняли, поняли, что не проходит он в проем звонницы, опустили, прорубили в кирпичной кладке выемки под его покатый венчик и вновь подняли — разлетелся звон в Морозовку, Белогорье и Павловск.

Под ударом пушечного осколка взмолился «Звон», долго вибрировал раненым боком, вспомнил безобидные камни пастушков.

Сахарову подвели карачового коня, обряженного в богатую медную упряжь, он ловко взвился в седло.

— Жаль, мало погостили мы в обители, братья! — кричал он своему штабу. — Была у меня задумка обрядить настоятеля в бабское платье и заставить «цыганочку» плясать.

Штаб не мог оставить шутку командира безответной.

Максим на коновязи отыскал кобылу, выданную в волисполкоме, хотел просить у Сахарова оружия, хотел примкнуть к его штабу и нестись на Павловск через Дон — хоть напрямик по воде. Командир «волчаков» кричал ему с седла:

— Вьюнок, скачи к тому, кто тебя послал, скажи, чтоб паромы через полчаса были в готовности, пойдем тот берег от белой плесени чистить.

Несло Сахарова и все, что было кругом него, дальше по вету — ветрами революций, метелью белого пороха.

ГЛАВА XXXIII

«Волчаки» и богучарцы с наскока отвоевали Павловск, белые откатились к Мамону. И завертелась осенняя чехарда: город сновал из рук в руки. За сентябрь красные входили в него два раза. В октябре смена была еще насыщенной — трижды покидали Павловск большевики и трижды возвращались. Кувыркание власти стало обыденностью.

В свое первое очищение от белых город не сиял столь торжественно, как с недавним приходом донских казачьих полков. Воскресный день открылся митингом. Говорили о гибели Федора Игнатьевича Башкирцева и других погибших товарищей, клялись освободить в скором времени Богучар, а с ним — и могилы всех павших за революцию борцов.

С длинным докладом выступал губернский агитатор:

— Пока на фронте революционные войска бьются с казаками, их товарищи в тылу углубляли революцию. Воронежский горисполком предложил правлению духовной семинарии в течение недели освободить здание семинарии на Большой Дворянской улице. Постановление выполнено! В бывшей семинарии после ремонта будет открыт Дворец труда! Да и сама Большая Дворянская отныне переименована в проспект Революции! Малая Дворянская стала улицей Фридриха Энгельса, Старомосковская и Большая Садовая — улицей Карла Маркса. Кадетский плац теперь носит название площади III Интернационала! Кто не был в Воронеже — поясню: улица Маркса пересекает улицу Энгельса и обе они выходят на проспект Революции!

Толпа научилась улавливать ударения и паузы оратора — площадь Павловска взорвалась аплодисментами. Выступавший перевел дух и перелистнул страницу доклада:

— По религиозному вопросу! Во всех храмах епархии началась перепись церковного имущества. Теперь это социалистическая собственность.

— А меры эти только наших церквей касаются? — донеслось каверзное из народа.

Агитатор не растерялся:

— Для народной власти нет различий в конфессиях! Даже община синагоги

представила в Воронежский губсовнархоз перечень изделий из благородных металлов. Почти все оказались серебряными и подлежат изъятию.

Он долго обводил подозрительным взглядом густо заставленную людьми площадь, ждал еще провокационных вопросов. Над толпой стоял монотонный гудеж, как в улье, обыватель трепался сам с собой, до оратора новости и шепот не долетали:

— У меня свояк из Подгорного приезжал, к нему по железке новость прикатилась: на днях в Воронеже так рвануло — весь город слышал. На станции три вагона снарядов взлетело.

— Интересно, про это он скажет?

— Держи карман...

И словно услышав кривотолки в толпе, агитатор достал вчетверо сложенную газету:

— Вот прославилась наша губерния на всю республику. «Правда» пишет: «В Воронеже грандиозные взрывы. Больше 150-ти человек разорвано на куски. Разрушены советские склады, ж/д станция».

Корреспондент губернской газеты примчался в Павловск ради громкой победы, торопливо набрасывал строки будущей статьи: «Торжественно гремят марши в исполнении духового оркестра, жители с детским любопытством смотрят на выступающих командиров». И вслед за оптимистичными нотами в статье витала тревога: «Обильный и красивый город таит в себе гадов, которые съехались сюда из Петрограда и Москвы, как мухи на мед. Саботаж и спекуляция пронизывают все щели». Созданная комиссия по борьбе с темными «понаехавшими» быстро нахватала десятка два контрреволюционеров с саботажниками, под арестом отправила их в губернию.

Через полторы недели руководство уездкома раздавало населению муку, само торопливо эвакуировалось на станцию Евдаково. Казаки взяли Бутурлиновку и на следующий день — Павловск. Снова посыпались казни и репрессии, попавших в плен красных бойцов расстреляли, в парке близ Реального училища повесили связную Богучарского полка Веру Высоцкую.

Линия фронта легла по Дону и Черной Калитве. Сахаровский полк из Белогорья перебросили на другой участок — от Семеек до Россоши. В Белогорье вернулись старые знакомые богучарцы, а с севера пришел им в помощь Бобровский полк. До поздней осени Левобережье сотрясало от войны, меняли хозяев Калач, Новохоперск, Таловая, Бутурлиновка. Дона белые пока перескочить не могли, два месяца Белогорье оставалось прифронтовым...

Принарядилось бабье лето в раззолоченную кофту, выстеленную медным подбоем, на макушки еще зеленых осокорей набросило гнезда ярких дамских шляпок. По воздуху летела сентябрьская паутина — осень обронила первый седой волос.

Утром на дворе волисполкома с трех часов дня открылось собрание слобожан. До восьми сотен набилось к бывшему волостному правлению. Невиданное дело — на сходы и митинги бабы все чаще раз от разу приходили. От самой ночи до нынешнего часа не гавкнул ни один орудейный снаряд, ни с того берега, ни с этого. Настроение у мужиков бодрое, разговорчивое, бабы тоже не отстают:

— Я така мастерица готовить, така мастерица! По краям бело-бело, а в середине — желто.

— А что ж это?

— Яишня.

Бабам что митинг, что ярмарка — молоти язык, удивляй соседку.

С Преображенской колокольни прыснуло вспышкой перегоревшего магния, посыпались, тая на бегу, искры.

Максим Гадюкин, как и добрая половина площади, поднял голову к звоннице, увидел целившего объективом в толпу господинчика. В блестящих рыжих крагах и клетчатой кепке господинчик встретился ему на паперти полчаса назад. Там же Максим сегодня вновь видел «её» вблизи. Она выскочила после обедни в кокетливо повязанном платке с узлом на затылке, трижды торопливо перекрестилась, обернулась к ступеням, нагнулась на взгляд Гадюкина, убрала глаза в землю. Хотела его обойти, но попала в руки фотографа:

— Селянка, красавица! Разрешите, милая, вас запечатлеть? Всего одна поза, прошу вас, одна позиция.

Жена Калинкова досадно махнула на просящего, хотела добавить на словах, прикусила язык, повернулась к дверям храма и, обмахнув себя крестом, сбежала по ступеням на волю.

Восхищенный фотограф покрутил ус, провожая метавшийся подол юбки и гулявшие под ней бедра:

— Такая красота гибнет неувековеченной.

Он поднял голову наверх, оценивающе пристреливая колокольню:

— Панорама должна получиться дивная.

Первым на крыльце волисполкома выступал приезжий латыш — командир небольшого продотряда. Фамилия ему была Стауэр, его прислали из Москвы агитвербовочным отделом Коллегии по управлению Красной Армией. Говорить он умел хорошо, однако недостаточная свобода обращения с русским языком мешала. Он благодарил жителей за высокий процент свезенного на сыпку зерна, за помощь в проведении продразверстки и законно журил несознательный элемент, утаивавший «излишки».

Гадюкин слышал в толпе позади себя:

— Кабы не Бобровский полк, хрена б ты увидел, а не наших излишков, морда чухонская.

Стауэра сменяли бойцы Богучарского и Бобровского полков, местные коммунисты. Агитировали за советскую власть, за партию большевиков. Рядом с Максимом стоял мешковатый крестьянин с отстраненным лицом, насилдовал свое ухо спичкой, вычищая серу — готовил сознание для новых убеждений.

Выступал местный «старый» большевик лет тридцати, утверждал, что состоит в партии с девятьсот пятого года, после долгих своих речей заявлял между делом:

— Если вам будет угодно, я могу говорить еще три часа.

Распался выведенный до сухоты боями и походами комиссар:

— Вы хоть домой вертались, пожили при бабах и дворах с зимы до осени. Обселяться успели, урожай собрать. А мы, как фронт развалился, так и мотаемся по Украине. И с гайдамаками бились, и с немцем. Вот теперь Краснова хотим задержать, а вы нам не помогаете.

— Это как же не помогаем? — летело народной несправедливой болью в ответ.

— А хлебушек чей в продотряде? А вы полковую кухню свою из чьих закровов питаете?

Средь толпы возникали споры, обсуждения. Заглушали оратора, гомонили друг с другом.

Порожки волисполкома пустели недолго, пока толпа не стихала, потом появлялся новый агитатор. Чесали языками восемь часов к ряду. Глубоким вечером, по темноте, неохотно расходились по домам. Максим шел средь широкой компании, загородившей улицу вширь от плетня до плетня. Им встретился одинокий крестьянин, на митинге не бывший, весь день проведенный в хозяйстве, узнал по голосу соседа, окликнул его:

— Мыкола, о чем бунтовались на собрании?

— Да, балакалы про образа, — незначительно бросил в осеннюю темень Мыкола.

Максим за три прошедших месяца стал свыкаться со здешним говором, знал, что образами нарекают иконы. Стал перебирать в памяти, поднимался ли на митинге церковный вопрос, и не мог припомнить. Потом его осенило: один из «докладчиков» чуть не в каждом предложении вставлял «таким образом».

Гадюкин, не страшась, что его увидят, схватился за голову: «Бедный, дремучий народ... Им завтра расскажут и не такое, а они все одно будут переворачивать на свою колодку... Или вовсе: с загуманенным мозгом пойдут не пойми за кем, не пойми куда, не пойми зачем...»

Сентябрь таял, шел к исходу. Наливалась осень яркими одежками — совсем как на бойцах Волчанского отряда, ушедшего теперь вниз по Дону. Но даже оттуда, из лежавшей в шестидесяти верстах Россоши долетали слухи, что и на новом месте Сахаров со своими «волчками» лютует, грабит местных без разбора на их достаток и крестьянско-пролетарское происхождение, творит бесчинства и произвол.

Отгремел благовестом праздник Воздвижения Креста Господня, в народе — Сдвижение. Природой сдвинут невидимый порог, безоглядно погода поворачивает от лета к осени, двери в погреба и подвалы плотно затворяют хозяйки от ночных морозов и мышьиной наглой своры. А она, тварь серая, лезет настырно в натопленное жильё, жметса к человеку, хоть и тревожно ей среди него.

После праздника на Сагуновском краю, лежавшем в балке меж двух гор и скрытом от сидевшего в Павловске неприятеля, прошел очередной митинг. По волости был объявлен сбор всех демобилизованных солдат старой армии, и явилось их к вечеру не меньше тысячи. Запрудила мужичья толпа горло Сагуновского края, растянулась от угла Тяпкивки до Богомазовки, разлилась по бугру выгона, где паслись днем прибитые к шкворням телята. Вопрос стоял все тот же: идти ли в красноармейское войско?

Сидел за походным столом писарь Бобровского полка, перекладывал для деловитости бланки, переставлял чернильницу, подносил к глазам перо и сдергивал с его кончика налипший волосок. Тихон следил за ним и не сдерживал коротких смешков, видя наигранную писарскую занятость.

Первым выступал Белогорский комиссар волостного военкомата:

— По губернии с июня месяца объявлена мобилизация двух возрастов. Срок подошел 1898-му и 99-му годам.

— Вот и пускай идут воевать, раз их черед. Доросли до винтовок, нехай их гонят, — несло из демобилизованной гущи.

Слова попросил Дмитрий Ломоносов, родом из Басовки. Полтора года назад, когда грянуло по стране революционным февралем, он признался Тихону, что во время первой революции разбрасывал ночами по слободским улицам нелегальную литературу. Тихон помнил, как торжественно несли крестьяне найденную дешёвую брошюрку в правление или уряднику. Чтоб открыть незаконную книжонку и почитать ее в те «далекие» времена не могло быть и речи. Все добросовестно верили в Бога, а еще больше — в слова приходского батюшки: раз он говорит, что революционеры — грешники, значит, так оно и есть, не нам, сирым да убогим, лезть в политику.

Ломоносов развел руки, словно собирался собрать в кучу растекшуюся по выгону толпу:

— Гляжу, земляки, и не верю. Год без малого при советской власти живем, а никак кумекать по-правильному не научимся. Ведь кто защитит ее, власть нашу родную, если не мы сами?

Его понесло по ухабам пространных речей, до которых он был великий мастак и охотник. Часто повторялся, говорил общие фразы, агитировал за добровольную самоорганизацию, защиту советской власти и наконец вымолвил заветное:

— Если вам будет угодно...

— Да знаем! — перебил его из толпы учитель Шендрик. — Сможешь говорить еще три часа. Не надо, наслушались, слезай уже.

На смену «старому» большевику выскочил крестьянин Доротенко:

— От беженцев слышно, что Краснов скривь всех подгребают до себя!

— Поголовная мобилизация! — вставил из-за его спины комиссар военкомата, махнув неведомой бумажкой.

— Придут казаки к нам — отсидеться не получится, мужики! — кричал Доротенко. — Так лучше воевать за красных, а не за Краснова.

Степенно вышел бывший прапорщик Шашкин, заговорил, метя в понятное крестьянину место:

— Месяц назад уже сгорели три двора от перестрелки, если будем в стороне — и наши дворы погорят. Надо собраться да шугануть казаков от своих хат.

По толпе прокатилось оживление:

— Ежели под твоим началом, Михал Федорыч, так пиши меня!

— Веди нас, Шашкин. Ты офицер, за тобой не пропадем.

— Свою роту сколотим, ребята. И чтоб друг за дружку стоять, чтоб командование нас не расформировывало, чтоб службу несли до конца вместе.

Командир Бобровского полка слушал заявления из толпы, на все соглашался, заверял, что требований добровольно вступивших в его полк белогорцев он до конца не нарушит. В спорах и предложениях решили мобилизовать десять возрастов — рожденные с 1889 по 1898 годы записывались в состав Бобровского полка. Набралось шесть сотен добровольцев. Пятьсот девять из них образовали 3-й отдельный Белогорский батальон, десяток пошел на пополнение пушкарей и восемьдесят человек, часть из них на собственных лошадях — в команду конной разведки. Командиром согласился быть Шашкин, ротными назначили фронтовиков: Полканова, Лаптева и Матвиенко.

Добровольно вступившие в красноармейский полк солдаты мыслили трезво: Павловск только вчера в очередной раз отвоевали казаки, завтра могут скакнуть через Дон — и полетят плети на спины оставленных дома женок, отцов, матерей. Поэтому попросили они полковое и местное военкомовское начальство оформить все как объявление мобилизации, а не добровольный порыв.

Максим Гадюкин вернулся с митинга в хату к Ульяне, стал складывать в вещевой мешок свой нехитрый скарб. Крестьянка долго смотрела на него, молча ушла в стряпку, укутала в холстину полкаравая хлеба, луковиц, вареных картошек, вырвала на огороде редиску второго за сезон урожая. Максим у крыльца на скорую руку чистил не мазанное с июня месяца оружие. Ульяна вернулась с огорода, тихо спросила:

— Плохо тебе, что ль, жилось? Чего ж уходишь-то?

Ответ выдавливал из себя Гадюкин деловито:

— Служба.

Потом добавил с легкой улыбкой:

— Да и долг ты своей отработала.

В морду ему прилетел пучок вырванной и не обмытой редиски. Гадюкин собрал затвор, водрузил его на место, вправил шомпол, только потом поднял глаза. На лице Ульяны еще прыгал гнев. Она двинула его неумелым к драке кулаком, на щеке оставив след от трех забитых черноземом ногтей. Гадюкин прикрыл глаза, рукой не заслонился.

Он уходил этой ночью к позициям, к полковой кухне, к холоду и неуютю походной жизни. На зубах его скрипела земля с редисочных корней, а царапин на щеке он не чувствовал. И еще горела земля под пятками от подзабытого чувства дороги.

Москве жилось сытнее. Даже в февральские дни, когда столица еще не переехала обратно в Белокаменную. Василий Голицын вел переписку с университетскими друзьями, его звали жить и работать в новые, каждый день нарождавшиеся учреждения, ведь в своих письмах он ссылался на бедственное положение.

Родители с младшими братьями-сестрами уехали в Финляндию сразу после Октября. «Пока ходят поезда», — твердил отец, раскладывая по чехлам и портфелям бумаги. Мать неумело увязывала вещи (прислуга уже покинула особняк), торопила первенца: «Базиль, крошка, помоги мне с этой застежкой». Голицын лениво бродил по разоренному дому, кидался помогать матери, потом нелепо замирал, ужасно таращил глаза в пустоту. Не выдержав понуканий отца, даже в эту минуту оставшегося сдержанным и решительным, Голицын со слезами в голове накричал на семью. Что именно он орал — люди в такие моменты не помнят, психика щадит их разум от разрушения. Но ответ отца он будет помнить вечно: «Что ж — оставайся. Я уверен, что одиночество твое продлится недолго. Ты никто без меня, скоро ты это поймешь».

Он быстро проел оставленные в квартире вещи — уникальные, фамильные, золотые, не влезшие в родительские чемоданы. От бабушки оставалось столовое серебро, изготовленное в Италии бог знает в каком веке, и стекло такой тончайшей работы, что дунешь — разлетится, а тронешь его — поет. Оно переходило из поколения в поколение, хранилось в длинных больших коробках, выложенных внутри бархатом. Бабушка занавешивала окна, чтобы снаружи ничего не было видно, и тогда только открывала эти коробки. Теперь они были пусты.

Декабрь прошел в полуголоде, январь еле закончился, и Голицын, пожалуй, был единственным, кто радовался новому введенному большевиками февралю. Он проснулся не первого, а сразу четырнадцатого числа и с робкой радостью подумал: «А ведь февраль я переживу! Половина месяца уже пролетела...»

За стеной шумело уплотненное жилище. Ему оставили одну комнату, но предупредили, что, возможно, и здесь скоро отгородят угол, развешат мокрых простыней, расставят кухонной утвари, разбросают по полу грязного тряпья, вытравят буржуазный аромат «Ралле и Ко» пролетарским чадом семижды семи примусов.

В тот же день Голицын собрал в два узла книги, снес их в места, где книги еще имели цену, и укатил в Москву за лучшей долей. По пути к вокзалу он заметил миловидную девушку в очках. Прислонившись спиной к решетке Аничковского моста, она вытянула вперед руку, будто за подающим, но в руке лежали два кусочка мыла, и робкий голос ее произносил одно слово. На нее не обращали внимания, шли мимо, не желая покупать. Голицын подошел ближе, разобрал тихое:

— Метаморфоза...

У самого вокзала он вспомнил, что встречал мыло с таким названием.

И еще он видел в покидаемом Петрограде, как бросилась под трамвай оголодавшая собака. Она была породиста, невероятно худа, со свалывшейся шерстью и печальными глазами. Шатаясь на слабых ногах, собака вышла на открытую снегом линию. В подворотне грязлись дворняги, растаскивали замороженные кости павшей лошади. По 8-й линии вырुлил трамвай, и собака мгновенно смотрела на мир, думая, стоит ли сходить с заметных путей. В трамвае дали короткий звонок, но затормозить не успели и без остановки проехали дальше. Дворняги кинулись к рельсам, слизывая с них свежую кровь, сыто урча; они знали: скоро и эта роскошь с улиц исчезнет. Голицын был уверен, что собаке надоела ее непригодность, она не ушла с путей специально.

В Москве его встретили, устроили на должность в Наркомпросе. Прошло мень-

ше недели, и над городом пронесся слух о «Небесном знамении». Голицын по дороге со службы видел сам, как в морозном воздухе от заходящего солнца поднялся вверх высокий огненный столб, перерезанный посередине поперечиной. Колоссальный багровый крест нависал над городом с запада. На следующий день в очередях и служебных курилках толковали: «Немцы идут, скоро вернут нам крест, в Гатчине драгунские разъезды видели, на Фонтанке с аэропланов бомбы сбрасывали». Голицын сперва отчаялся: «Сидел бы дома! Чего понесло в Москву?», потом перевернул на свой лад: «Кого слушаешь, обывательщину серую? Это тебе знак — верно сделал, что уехал».

Он стал тянуться за обществом, в которое попал, посещать театр. Да, это был театр свежей формации, новаторство с умопомрачительными афишами: «Царские грешки» — фарс минувшего в трех действиях с прологом. Главные роли исполняют: балерины Пшесинской — актриса Рахманова, принца Ники — актер Емельянов. Снимать верхнее платье необязательно, но появления другого ждать бессмысленно.

Теперь в театре выступали даже циркачи. Выходил факир с провалившимися глазами на страшном лице, показывал чудеса: совал себе в тело железные спицы, без крови прокалывая голую грудь, ноги, руки. Из ложи неслись возгласы работников чрезвычайки:

— А если его стрельнуть — врет, потечет с него, как с поросенка.

Традиционная пьеса, тем паче опера, сопровождалась гнетущей тишиной. Проникнутые революционным настроением зрители не могли скрыть своего презрения к романтическому сюжету, музыка не звучала как военный марш, не взбадривала, храп заглушал музыку оркестра. Лишь самоубийство главного героя нарушило идиллию. Выстрел бутафорского пистолета на сцене встретил на галерке отклик: четыре по-настоящему грозных залпа. На несколько секунд зал омертвел, ждали продолжения стрельбы или объяснений. По рядам прошла весть: это утомленные чекисты, разбуженные сценическим действием. Они не собирались причинить вред — просто рефлекс.

В общей ложе Голицына столкнула судьба с будущей женой. На этом направлении он оказался одиночкой. Приятели его наслаждались свободными отношениями. Помимо продажной любви, и в прежние времена не страдавшей от дефицита, жизнь наполнилась новой этической нормой: женщина не обязана себя хранить для аморфного будущего мужа; к плотской любви надо относиться проще: с ней — как с жаждой. Не все барышни поддались веяниям этой моды, но и приверженок оказалось достаточно. После свадьбы Голицын осознал, что его теперешняя жена из их числа или была таковою в недавнем прошлом.

Он сразу остыл в браке, меньше читал газет, не следил о делах на советско-германской границе, перестал мечтать об иной, не большевистской, прессе. Жена его была с неоконченным реальным училищем до уровня Голицына (двух курсов университета) не достигала, но ему все равно было о чем с ней поговорить. Она ушла от матери к нему в комнатку — выделенное Наркомпросом казенное жилье, и соседи им попались из бывших служащих, тихие, не скандальные. Иногда донимал лишь соседский четырехлеток Ромка, сын провинциальной актрисы Мины Овчинской, переехавшей в пятнадцатом году из охваченного войной Вильно. С нею, да еще с няней ребенка — Аниелой Войцехович, ругалась жена Голицына из-за бытовых раздоров на общей кухне. На шалости и проказы своего отпрыска Мина Йоселевна с мягкостью польского акцента отвечала:

— Вы, дражайшая, еще услышите о моем Ромуальде! Он станет всемирно известным скрипачом или танцором не хуже Нижинского! Вспомните и простите себе свою глупость, с которой сегодня так тщательно требовали наказать моего Романа.

Фамилия у ребенка была не материна — Кацев, и супруга часто жаловалась Василию:

— Нагуляла бл...ша и бесится теперь. Мечтает, что он ее вытащит из нищеты.

По несколько раз в неделю навещала чету Голицыных мать супруги. У этой женщины был еще сын, и она им вечно хвалилась:

— В отряде реквизиторов служит. После четвертого класса реалки Колька мой сразу в контору вышел. Знайте, Васенька, вы попали в образованную семью. Мы с мужем швейную мастерскую держали, четыре работницы у нас было, пол-Москвы обшивали, все честь честью... Да вот муж подкузьмил — умер.

Голицын смотрел на тещу и понимал, почему ее дочь стремилась выскочить замуж и съехать от своей матери. И вдогон: «Неужели и моя через время станет точь-в-точь как эта?».

Первомай помимо демонстрации грянул над Москвой новым знамением. Одна толпа пришла к Красной площади на митинг, вторая — поклониться чуду. За день до Первомай ниши с иконами на кремлевских башнях затянули праздничным кумачом, а ночью в одном месте красная тряпка истлела, и выглянул на свет Никола Угодник. Толпу разгоняли красноармейцы, стреляли поверх голов. В прессе дали вразумительное объяснение: «Никакое не чудо, обыкновенным ветром сорвало красное полотно». Обыватель посмеивался: «Ну да, ну да, нигде не посрывало, а на одной только башне, такой вот разборчивый ветер».

В начале осени к Голицыну в Отдел изобразительных искусств, где он сидел на делопроизводительной должности, пришел товарищ:

— Вася, выручи — у тебя полномочия. Надо бы пропуск одной даме выписать.

Голицыну приходилось слышать, что «мешочная конституция» с каждым днем работает все хуже, мужиков, везущих из деревни в город сало, масло и хлеб, перехватывают в поездах красноармейские патрули, на вокзалах стоят заслоны. Мешочникам накинута на горло удавку, а заодно — и голодающему городу. Но неделю назад вышло разрешение каждому «трудящемуся» свободно провозить полтора пуда продовольственных продуктов. Люди стали изыскивать способы покинуть Москву, Наркомпрос в этом деле преуспел: Голицыну приходилось выписывать пропуска для этнографических исследований с пометкой «изучение кустарных вышивок» и тому подобное. От него в этом многоуровневом процессе делопроизводства зависело немного, и он честно признался:

— Такая справка — не моих рук дело. Мне приносят их, я выписываю, что требуется, и дальше она течет по кабинетам, обрастает печатями, подписями, визируется.

— Но ты же знаешь процесс. Посули гостинцев или чего-нибудь там.

— Ха, а чем я буду отдавать? — усмехнулся Голицын.

— Поехали с нами. Я так и сказал этой даме: справку сделаю, но тоже еду по вашей справке.

— Теперь ты предлагаешь нам троим ехать по одному документу.

— А что такого? Где двое, там и трое. В патрулях солдатня необразованная, они в этой справке один черт не разберутся, — стоял на своем товарищ.

День беготни по кабинетам увенчался заветной справкой. Вечером Голицын сообщил жене, что отъедет на несколько суток, а уже на другой день в их комнатке торчала теща:

— Справку надо выправить наново. Этой барыньке все одно куда ехать, вышивка она везде одинаковая, а нам с тобой, зятек, надо в Тамбовскую губернию. У меня там на станции Колька в реквизиторах. Три раза ездила: уж почет-то мне там у него на пункте — ей-Богу, что вдовствующей императрице! Один того несет, другой того гребет. Колька-то мой с начальником отряда хорош, одноклассники. Товарищ только из реалки турнули — загулял, а вот перемена-то эта сделалась,

со дна всплыл, пузырек вверх пошел. И Кольку моего к себе вытребовал. Сахару-то! Сала-то! Яиц! В молоке только что не купаются! Четвертый раз поеду.

Голицын еще день слонялся и обивал пороги. В конце новой справки стояла незначительная приписка: разрешается вольный проезд (провоз) одиннадцати с половиной пудов пшена. Через день встретились на вокзале все четверо: Голицын с тещей, его товарищ и «барынька». На ней были простенькая шляпка и дорожное удобное платье; полные руки сумок. Видимо, товарищ Голицына, подбивший «барыньку» на командировку, объяснил ей истинные цели поездки. И о широкой компании она была предупреждена, присутствию Голицына и тещи не удивилась.

Вокзальная толкотня, перемалывание перрона обувкой, скабрзности со всех сторон. Вульгарного вида дамочка просила закурить у матросика, тот бросал ей с ухмылкой:

— Есть у меня одна папиросина...

Дамочка возмущалась:

— Двадцать первая? Спасибо, курите сами.

Время шло медленно, словно у него не доставало одной ноги. Долгая проверка документов, толкотня и бабьи визги в переполненных вагонах. Вот-вот отправка, тревожное нетерпение... Заветно язгнули буфера, и поезд встал. «Барынька» беспокоится:

— Что это?

Товарищ Голицына, грубо:

— Молчите! Молчите! Видно, еще не ездили!

Курносая баба в платке:

— Помилуй нас, Господи!

Вагон — мертвый гроб. И через минуту крики, толкотня, угрозы:

— Освобождай, сказано! Вагон для Красной Армии! Фронты трещат, как ху-дые штаны, с юга Краснов напирает.

Билеты, разрешения, справки, командировочные листы — все побокку. Перед самой отправкой товарищ Голицына бегал с документами от вокзального коменданта обратно к вагону, вытирал на ходу пот, покрывался багровыми пятнами и в последнюю секунду затолкал всю «делегацию» в вагон.

Красноармейцы — в полной сбруе: манерки, котелки, вещмешки, оружие, брезентовые и кожаные ремни. На скамейках теснота. Махорочный дух, смрадный пот, сыромятное амбре от мокрых ботинок. Их великолепной четверке выделили уголок и два диванчика. Сели друг против друга, теща с «барынькой», Голицын с товарищем. Солдатский гомон через версту стал стихать. Часто бьющееся сердце Голицына — замедлилось. Стали тихонько разговаривать. Снова верховодила теща:

— Уж три раза ездила — Бог миловал. И белой пуда-ами! А что мужики злобятся — понятное дело... Кто же своему добру враг? Ведь грабят вчистую! Я и то уж своему Кольке говорю: «Да побойся ты Бога! Ты сам-то хотя и не из дворянской семьи, а все ж и достаток был, и почтенность. Как же это так — человека по миру пускать? Ну, захватил такую великую власть — ничего не говорю: пользуйся, владей на здоровье! Такая уж твоя звезда счастливая». Потому что, барышня, у каждого своя планида. Ах, Вы и не барышня? Ну, пропало мое дело! Я ведь и сватовством промышляю. Такого бы женишка просватала! А муж-то где? Без вести? И детей двое? Плохо, плохо!

Глаза «барышни» округлялись, только теперь она стала уяснять, куда едет и в качестве кого. Теща без умолку сулила всякие блага до свиного сала включительно и тут же грозила бедами — вплоть до смертоубийства. Мужики озлоблены: бывает, что поджигают вагоны.

«Барышня» стянула шляпку, показались коротко стриженные волосы, по-но-

вому открылись зеленые глаза. В них мелькнуло что-то знакомое Голицыну, будто видел он этот портрет раньше. Василий тихо спросил у товарища:

— Ты ее откуда знаешь?

— Дочь директора Музея изящных искусств, — так же тихо ответил товарищ.

Мысль быстро пронзила память Голицыну:

— Поэтесса?

— Ну, еще и поэтесса, — безразлично согласился товарищ.

Трепоткой разливалась теща:

— Так я сыну-то: «Бери за полцены, чтоб и тебе не досадно, и ему не обидно. А то что ж это — вроде разбоя на большой дороге». Пра-аво! Оно, барышня, понятно... Что это я все «барышня» — положение-то ваше хуже вдовьего! Ни мужу не жена, ни другу не княжна!.. Оно, барынька, понятно: парень молодой, время малиновое, когда и тешиться, коли не сейчас? Не возьмет он этого в толк, что в лоск обирать — себя разорять! И корову доить — разум надо. Жми да не выжимай.

Голицын понимал, что пялить глаза на «барышню» неприлично, скользил взглядом за окном, но то и дело возвращал его в вагон, к дивану напротив себя. Он не знал ни одного стиха московской поэтессы и, как истинный петербуржец, любил совсем иные стихи — своей популярной землячки. В феврале, когда покидал он родной город, в магазине, где загнал свои книги, ему попала в руки машинописная рукопись со свежим, крамольным стихом. По первым строчкам он узнал свою любимицу:

Опять она? Бесстыдно в грязь
Колпак фригийский сбросив,
Глядит, кривляясь и смеясь,
И сразу обезносов.

Ты не узнал? Конечно — я!
Не те же ль кровь и раны?
И пулеметная струя,
И бомбы с моноплана?

Живу три года с дураком,
Целуюсь ежечасно,
А вот, надула колпаком
И этой тряпкой красной!

Пиши миры свои, — ты мой!
И чем миры похабней —
Тем крепче связь твоя со мной
И цепи неослабней.

Остра, безноса и верна —
Я знаю человека. Ура!
Да здравствует Война,
Отныне и до века!

Голицын, иногда касаясь своей коленкой платья сидевшей напротив «барышни», думал о своей: «Как там она теперь в Питере? Тоже едет в грязном вагоне на Псковщину за пшеном?» Он вспоминал о довоенных столичных стихах, о веяниях в поэтической культуре. Для него только теперь стали важны призывы поэтов. Они писали о жестокой борьбе до гражданской войны, до большой крови. Предчувствовали или, как буревестники, пытались накликать, раздуть.

Средь красноармейцев гуляли размышления:

— Эх, лучше б тогда годок в окопах пересидели на харче казенном, чем теперь опять цельный год воюем незнамо за что.

— Ты откуда знаешь, что годок оставалось?

— Газету разверни, деляга. Там пишут, что Антанта немца дожимает. Ежили они без нас его год крутят, так неужели бы с нами дольше крутили?..

На неведомой станции поезд застопорил ход. Командир красноармейцев сказал товарищу Голицына, чтоб они искали места в других вагонах — с войсками ехать не положено. Станция была не крупная, с миленьким вокзалом, почти не загаженным. Солнце сбросило мутную шелуху туч, сияло золоченой луковицей.

Компания их смогла пробиться в один вагон, отвоевала место на узлах. Поезд не трогался. Ходили на станцию за кипятком, больше достать было нечего, торговки повсюду разгоняли и, обвинив в спекуляции, изымали товар. Государство объявило монополию на жизненно важные продукты. Только оно могла их перемещать, «закупать», реквизировать и распределять.

По вагонным углам шептались:

— В декабре отменили суды и упразднили должность прокурора. На смену пришел революционный трибунал, который руководствуется не правом и законом, а революционной целесообразностью. Они говорят: «Мы не в силах обуздать стихию разбушевавшихся народных масс. Народ творит справедливый закон и справедливую казнь».

— И будет это так идти, пока не останется: из тысячи — Муж, из тьмы — Жена.

Голицын помимо кипятка раздобыл свежую «Правду», прочитывал куски статей:

Красный террор в Пензе

Из Пензы телеграфируют: «Власть становится на твердые ноги. В уездах и городах массовые аресты. В городе расстреляны: гр. Мусин-Пушкин, офицеры Грачев, Мешков, Кудрявцев... всюду кулаков штрафуют, местами имущество их конфискуется в пользу бедноты, оружие кулаков передается комитетам бедноты... всюду революционный порядок».

Очищение Орши

Германское командование в Минске сообщило нашему командованию в Смоленске, что оно намерено добровольно очистить район города Орши от германских войск. 12-го сентября начинает работать специальная комиссия.

К расстрелам

Вслед за столицами, гулким эхом лозунг дня о красном терроре раскатывается по городам и селениям Советской России. Из ряда местностей сообщают длинные списки своих знаменитостей. С ними сходит в могилу черное прошлое России. Освобождаясь от этих пленников, мы отдаем только некоторую дань человеческой справедливости.

После жуткого наплыва грамматических и стилистических ошибок в статьях накатывала тошнота. Из скомканной газеты кособоко и одноглазо выглядывала статейка:

К вопросу об Иудах

В наших советских учреждениях много работников, в глубине души отрицательно относящихся к советской власти. Часто поступают указания, что в том или ином учреждении есть люди, способные в любую минуту продать советскую власть за тридцать серебряников. Работа их может быть обеззаражена, только когда удастся справиться с безработицей и бескормицей. Враги шипят во всех углах, и так будет, пока не прекратится голодовка. Это временное зло, и полное его искоренение возможно с прекращением мировой империалистической войны.

Голицын смял газету в плотный комок: «Поглядим, как вам это поможет. Немец уже очищает Оршу, но какая связь между мировой войной и вашей продовольственной политикой — не ясно». Он пристально поглядел на «барышню», набравшись смелости, предложил:

— Не хотите снова выйти на перрон прогуляться?

Она заметно растерялась, но было видно: охотно бы приняла предложение.

— А успеем влезть, когда поезд поедет?

— Конечно, наши спутники приберегут для нас места.

Поначалу она боялась покидать перрон, потом — отходить далеко от поезда. Голицын убеждал, что опасности нет. Разговора не выходило. Василий хотел спросить ее о прошлой жизни, но понимал, что обсуждать поэзию здесь и сейчас неуместно, а воспоминания о благополучных временах вызовут только тоску у обоих. Со стороны налетали обрывки жалоб от местных мешочников:

— Чего это я за здорово живешь должен хлебец отдавать? Да пусть он хоть вымрет, город этот! Мне что с него проку? Ни карасину не шлет, не мануфактуры, ни сахару.

— Нынче времена, что любая крыса кошку поборет. Кошка от голода полудохлая, а крыса с падали — нажиревшая. Кошка добрая — тикать, а крыса лютая — пировать. Вся Россия с ног на голову стала, все местами спуталось, как у кошки с крысой.

Голицын переваривал и так ему известные истины: «Большинство отправились грабить, так как оружия стало восталь, а слабый духом и телом (вроде меня) остался дома. Он перестал сеять, не выкармливает скотины, потому как спрятать надежно продукты не может, а в одиночку съесть ему не дают, он просто не успевает, приходят отряды опричников».

За высоким забором делились тайной:

— Гадали мы гадали, потом спрашивает один: «Чем Советская власть кончится?» Дух отвечает: «Молот, серп». Не пойдем, что к чему, тогда одна старушка мудрая говорит: «В обратную сторону читать надо».

Повисла тишина, и несмелый голос выдавил:

— Престолом?..

Голицын грустно улыбнулся, вспомнил свои опыты по «опросу духов» в самом начале революции. Спутница его заметила ухмылку, махнув на забор, тоже иронично спросила:

— И вас забавляют эти домыслы?

— Нет, дело в другом, я и сам в недавнем прошлом активно практиковал спиритизм. Теперь не могу вспоминать без грустной улыбки.

— Все мы в юности подвержены суевериям, это наследие нерастраченного до конца детства. Я, к примеру, давно мечтала оказаться в глубинке, в этаких древних углах, где вам без тени лукавства покажут клоч рыжей шерсти и станут утверждать, что она принадлежит домовому.

— О, про домового я слышал от кухарки, — оживленнее заговорил Голицын. Разговор их стал клеиться, и это радовало обоих. — Увидеть его можно в Великий четверг, понести ему творoga. Так она и сделала. По ее словам, видеть его не видела, а только ощупала — мягкий.

Спутница Голицына невольно прыснула, и он воодушевился:

— Если скажет он «у-у-у!» — это хорошо, а скажет «е!» — плохо.

Дождавшись, пока она отсмеется, Голицын перешел на другой говор, более сокровенный, искренний:

— А еще я помню свои чувства, когда впервые услышал купальские песни. Мы гостили у родственников в Тверской губернии. Имение стояло на бугре, а внизу текла речка. Была лунная холодная ночь, я прогнулся среди нее и с ужасом при-

слушивался к далекой вдовской песне. Женские охрипшие голоса врозь с мужскими. Голоса скакали, крутились, били, а я не мог пошевелиться, не мог натянуть подушку на голову, позвать на помощь или убежать к маме... Я только слушал.

Спутница, казалось, его не воспринимала, думала о своем и вслух произнесла: — Вот так ждала, думала, что настанут более спокойные и благоприятные к поездке времена. А они никогда не вернуться, как моя сломанная шарманка — никогда не будет играть... Знаете, я нашла ее в одном антикварном магазине, тут же купила, надеялась, что со временем почию. Даже не давала Але с ней играть...

У Голицына жалостью скомкалось сердце. Впервые за многие месяцы ему стал виден кто-то, кроме него самого. Перед ним стояла несчастная мать, кинутая в эти хлябистые черноземы волей наступавшего голода, страхом за детские хрупкие жизни, а не бывшая владелица высоких дум, певица мелодичного стиха.

Она прочла в его взгляде жалость и тут же пустилась в веселое прошлое: — А я перед войной попала в одно крестьянское хозяйство из числа экспериментальных столыпинских поселков, и там в ночь под Ивана Купала начальство подписывало кучу бумажек, отпускало сажень дров на купальные огни, земство готовило праздник. Из окрестностей сошлись люди, по деревьям развесили фонарики, сколотили сцену, гирляндами из березовых веток убрали стены домов, пригласили оркестр. По берегу запылали костры — и девушки мчались, прыгали через них, но всем было ясно, что праздник испорчен всей этой казенщиной. Из темной реки выходил ряженный водяной, рыбаки шупали его и ухмылялись. Дети, наряженные чертенятами, легучие мыши... И старики, и молодежь видели, что все фальшиво, чиновничий бред вместо обряда. Бездушная штамповка заслонила народную толщу...

Потом она нагнулась, на ходу подняла круглую стекляшку из выбитого пенсне:

— Смотрите, перегородка между чьим-то внутренним миром.

Голицын подумал о другом: совершалась ли здесь над кем-то расправа — или пенсне обронил в дождь тихий провинциальный землемер, шедший со службы к дому.

Солнце садилось за горизонт, перед ними стлалась голая степь, в нее уплывали рельсы. Голицын и его спутница далеко ушли от станции, понимали, что пора возвращаться, но не могли повернуть, ведь тогда снова открылся бы дикий перегруженный эшелон. Она провела рукой по воздуху, словно нащупывала горизонт:

— Дорога вытянута гитарным грифом. Вместо семи струн тянутся четверо — близнецы-рельсы. Несчетное количество шпал вместо ладов на грифе. Не верится, что на этом бесконечном грифе все те же консервативные семь нот.

Голицын не смотрел на нее, не пытался отыскать общего в железной дороге и гитарном грифе, он лишь благодарил высшие силы за эти несколько минут и с великой тоской понимал, как будет горько печалиться, о них вспоминая.

— Знаете, Вася, у меня есть знакомый, он любит музицировать у себя на даче. Иногда достает виолончель (я, думая о гитаре, вдруг про нее вспомнила), но чаще играет на флейте. И однажды ему стал подпевать... соловей. Он следовал вверх и вниз — вслед за инструментом, пытался подражать, держал тон. Я бы сама никогда не поверила в это, если б не слышала. Мы не знаем себя, и больше того — не знаем природу.

К станции они возвращались в сумерках. Уже совсем бы стемнело, но луна перзрелой дыней выкатилась на горизонт. Высохшее дерево захватило ее в цепкие лапы, впиваясь когтями-ветками, но на самом деле — заботливо покачивало на ветру.

Годовщину революции Белогорье отметило общегражданским митингом. Опять собрались на окраине слободы в долине меж двумя холмами, где месяц назад агитировали фронтовиков добровольно вступать в армию. На фоне торжественных речей и обещаний по толпе гуляли местечковые, близкие сердцу пересуды:

— С утра казаки тоже нас поздравляли, прислали подарок с той стороны Дона, а я только свинью на огород выпустила попасться — все уже убрано, она не наносит. Прилетел «подарок», от поросяти только клочья остались.

— Хорошо, что свинью разорвало... Могло б и людей.

Весь октябрь казаки Краснова гонялись за Богучарским, Бобровским и Волчанским полками, теснили их по Левобережью, по Павловской округе, выдавливали за Дон, в Острогожский уезд. Красные переправлялись на пароме то у Колодежного, то у Белогорья, подлечивали раны, темными осенними ночами снова переплывали Дон, появлялись на левом берегу, освобождали деревеньки и вези, прорывались в Побитюжье к тамошним густонаселенным слободам, шли долиной Осереды, набирали добровольцев по Лосевской волости. Жители просили о введении мобилизации, боялись казачьих «епрессий». От белых каждый день перебежали в стан красноармейцев местные, говорили, что Краснов мобилизует всех от двадцати до сорока пяти лет, крестьяне от его армии уклоняются, по волости шныряет карательный отряд в полторы тысячи штыков, идут порки, доходит до расстрелов.

После боя в Лосево богучарцы объявили об изъятии у буржуев и тех, кто бежал с казаками, излишков одежды и обуви. Теперь бойцов-красноармейцев нельзя было различить с вольными партизанами Волчанского полка: сермяги, полушубки, смокинги, пальто, шляпы и котелки, цветные шелковые дворянские стихари, черкески. Следующей ночью во время штыковой соседний Алексеевский полк налетел на богучарцев, приняв их за «белую сволочь». Замещавший раненого Малаховского командир полка Степанов на следующее утро издал указ: каждому пришить поперек шапки красную ленту в два-три пальца шириной для устранения неразберихи. Был он из бывших штабс-капитанов, сущность имел анархистскую, но советской власти верность хранил.

Вдоль Дона богучарцы теснили белых по Московскому шляху обратно к Павловску, а на левом фланге у них Мешковский и Казанский казачьи полки шли через Бутурлиновку, Гвазду и Пузево, заняли Бобров, растрепали Алексеевский, Калачевский и Московский полки, зашли в тыл богучарцам. Создалась угроза самому Воронежу. Богучарцы отступили к Икорцу, ненадолго отбили Бобров, освободили из тюрьмы две сотни пленных бойцов Варшавского полка, двинулись на Анну, но и здесь дрогнули, отошли к Лискам.

Краснов отдал приказ перешагнуть Черную Калитву и взять Россось. Покатились на север пестрые ватаги «волчаков», война растеклась по правому берегу Дона. Отступали, высылая в арьергард конные заслоны. На переходах и ночевках сталкивались красноармейские полки, узнавали давних знакомцев, земляков, однопольчан.

Спускались осенние сумерки, перекрашивая россыпи палой листвы в нудную блеклость. Слобода, выделенная под квартиры, была немалая, и все равно возникали перепалки с нежеланными соседями из других полков при дележке лучших хат. Чуть поодаль, на холме, стояла барская усадьба — туда соваться и вовсе не резон, наверняка уже занята.

Максим Гадюкин услышал в сумерках:

— Пардонато... кого я вижу? Здорово, вьюнош!

Он знал, что часть «волчаков» ночует вместе с Белогорским батальоном в этой же слободе, тайно надеялся, что и командир их здесь, но когда его окликнули — напрягся. На высокой рессорной бричке с дутыми шинами и лакированными боками сидел сам Сахаров, по-котовьи улыбался:

— Помнишь меня?

Гадюкин протянул руку:

— Мне странно, что ты помнишь.

— Хе-хе, ты заметный, вьюнош. У тебя в глазах что-то такое написано, дума какая-то.

Сахаров подвинулся, тепло приобняв севшего рядом Гадюкина. У того вертелся ворох мыслей: «Неужели и сегодня угостит? Зачем я ему? Уж не из этих ли он? Как-то странно он меня обнимает». Они покатали к усадьбе, и Максим не удивился: кому же как не Сахарову обетоваться там.

Командир Волчанского полка рассказывал по пути:

— Выгонять буржуев из усадьбы не стал, хоть на меня это и не похоже: настроение сегодня не боевое. Да и семейство там миленькое — вдовец с двумя дочушками. Отселил всех в одну комнатку. Вдовец — прямо дока, профессор изобразительных наук. Не усадьба — вернисаж. Одно плохо: кухарка старая. Я свою Курвляндию в Острогжск отослал, чтоб рук не вязала. Так, знаешь, прямо стосковался.

Сахаров внезапно кинул руку с плеча Максима ему на колено, страстно сжал:

— Я слышал, у вас в полку бабенка есть! Может, заскочим?

Гадюкин замялся:

— С чего ты взял?.. Да, женщина есть, но вряд ли захочет... своенравна.

— Ай, да брось...

Сахаров хотел размотать одну из своих простых истин, но быстро переключился на другое, затарахтел про старинные часы, неделю назад добытые из поместья под Россошью и уже пущенные на ветер и дым.

Максим задумался о женщине.

Ее за глаза звали «полковихой», но она такой не являлась. Она жила под именем Яник, и никто не знал, настоящее оно или, как вошло в моду, — выдуманное. У нее, безусловно, было богатое прошлое, это все чувствовали, даже командир Бобровского полка, а уж ему до вкусившего все прелести Сахарова было как младенцу до черта. Но даже он, этот молодой коммунист, вздумал пригласить ее однажды вечером в бывший дворянский дом, выразить «революционную благодарность». Она сама рассказывала, как все прошло, и командир полка даже перевелся от них в другое место после того случая. Яник увидела накрытый стол, вина и закуски, все поняла, начала рассуждать, как на этой старинной изящной кровати в былые времена барин «крестил» понравившихся ему дворовых девок. Командир быстро растерял интерес.

Женщина в революцию стала доступнее, философия фронтового товарищества овладела не только солдатами, но и слабым полом. Яник ушла от командира и, действуя лишь собственным желанием, провела ночь с бойцом, который, по ее мнению, этого заслуживал.

Она попала в полк по весне. Местность, где жила Яник, обернуло полосой войны. Одни гнали по полю других. Яник не разбиралась в революции, не знала, кто из них белый, кто красный, но ей стало жалко тех, которые убегали. Жалко, как своего скоро должного родиться ребенка. Она подбежала к труп, подобрала обретенную саблю. К ней подбежали те, кто преследовал убегавших. Она выпростала в широкую горловину рубахи свою грудь и стала ударять по ней поднятым оружием. Под одеждой ее ужасно бугрился раздутый живот, и враги бежали от вида беременной воительницы.

Может, это было всего лишь красивой легендой, но она жила, и весь полк говорил об этом как о правде. Куда делся ребенок, никто не знал, и Гадюкин видел эту женщину только в боевом снаряжении, на коне, при шашке и винтовке.

Сахаров уселся на скрипнувшую оттоманку, штаб его без команды окружил овальный гостиничный стол. Дом был завален амуницией и солдатским барахлом, картины среди бардака последними бросались в глаза. Пылали две лампы и канделябр на три свечи. Пожилая кухарка внесла керамическую супницу, накрытую крышкой в сиреневых цветах, по гостинной проплыл аппетитный аромат. Штаб доставал из-за поясов и голенищ разновеликие ножички. Под крышкой плавали в пару и масле вареники. Сахаров кольнул один, подозрительно понюхав, надкусил:

— А начинка из чего? Сыр не телившей коровы?

— Что ты, кормилец? Творожок свеженький, — не уходила кухарка.

Сахаров скинул прокушенный вареник себе под ноги, отвернулся от стола, махнул кухарке — свободна. Он долго скучал, гладил ореховую спинку дивана. Максим тоже не ел, даже не пытался втиснуться меж сновавших над супницей рук, думал, как плавно отсюда уйти. По виду Сахарова он давно понял, что тот и сам бедствует.

Командир Волчанского полка крикнул:

— Макабре!

Из глубин барского дома появился начальник штаба, молча встал и оперся плечом на притолоку.

— Тащи, родной, тащи. Видишь, помираю я, — сухим голосом заговорил Сахаров.

— Михаил, ты же знаешь: остался только стратегический запас, для боя.

Сахаров вполголоса выругался, покачал головой: так и думал. Макабре мягко уговаривал:

— Ложись отдыхать. Завтра встанешь, и ничего тебя мучить не будет.

— Я лягу спать! Лягу! — взорвался Сахаров.

Он подскочил к другому столику, поменьше, обрушил на пол гардину и прочее тряпье. На свет показался обтянутый пурпурным бархатом гроб. Сахаров стал громоздиться в него. Макабре сделал тошную мину:

— Не устраивай сцен, Михаил. В доме полно кроватей.

— Лучшее сюда, чем в постель, пропитанную ладаном от частых покойников!

Гадюкин уже никуда не спешил, с появлением Макабре финал для него был ясен. Начштаба, конечно, ушел и скоро вернулся с аптечной склянкой. Хватило всему штабу. По гостинной туманно плыло:

— Ты в бою как своих от чужих отличаешь?

— А я и не отсеиваю... Рубаю всех напрапалую. Кровь одинаковая и у белых, и у красных.

Максим видел в свете пылавших свечей, как четче прорисовываются линии и трещинки в прибитых к стене лосиных рогах — звериные отпечатки пальцев, их капиллярные узоры. Снова мелькнул шестигранный зрачок Сахарова, он все-таки из всех кроватей выбрал гроб и пошел стелиться туда, вяло приговаривая:

— Слабженто... слабженто...

Только теперь Гадюкин разглядел триптих на стене против себя. Монголы сидели на бревнах, а под ними — настелены русские князья, и лик одного из них в нимбе. Рисунок — словно из летописного свода, хотя и видна авторская линия, стилизованная под прошлое. На второй картине Лжецарь въезжал в Первопрестольную с окружением ляхов и наемников. Облачения, кирасы, кожаные нагрудники, леопардовые шкуры. Среди московской толпы зевак выделялся светлый странник — такому и венец не полагается, акцент и без того понятен. Качествен-

ная реплика под Эль Греко. Третье полотно — кирпичная стенка. Спinoй к Максиму стоял на картине человек в длинном хитоне, руки его безвольно опущены, в спину направлены двенадцать штыков, и стволы винтовок обрывались за гранью полотна, словно бы зрители казнили человека на картине. Новый стиль в духе Петрова-Водкина. Надпись под триптихом: «Бог устал нас любить».

Гадюкин вспомнил себя год назад в немецких, только что отбитых окопах. Там тоже на блиндажных стенах висела живопись. С ним ли это было? Триптих таял, проваливался в стену, пожираемый навалившейся сонливостью.

Наутро Макабре позвал Максима к себе в «кабинет». Это была полутемная каморка, в прошлом кладовая под продукты или иные службы. Там умещался столик и походная раскладная кровать, начштаба любил спартанство, а может, делал вид и ценил красивую позу. Утренний ветер разогнал хмарь, и солнце едва умещалось в крошечном окошке. Каморка только в эти короткие минуты была светлой, дальше солнце уползало за стену конюшни, поворачивало к югу, свет в кладовой притухал. В запаутиненном углу зудела попавшая в сети муха.

— Я хотел с тобой поговорить, — уселся напротив Гадюкина Макабре и предложил ему папиросу.

Максим молча подкурил, выдохнул дым, молчал. Начштаба тоже медлил, наверное, ожидая от Гадюкина расспросов или хотя бы заинтересованности. Не дождавись, заговорил:

— И в первую нашу встречу, и теперь я вижу, что ты не прост. У тебя на лбу гимназия написана, и мне не совсем ясно, за что ты воюешь.

Гадюкин стал прозревать: «Этому человеку просто не с кем поговорить. Он позвал меня сюда и делает вид, что ему интересна моя персона, но она нужна ему только, чтобы высказаться, выплеснуть наболевшее. Что ж, побуду твоей жилеткой».

— А ты сам как думаешь?

Муха в углу опять подала голос. Отчего ты, поздняя, не легла в спячку? Летала до этой поры, рыскала, где влипнуть, погибель искала.

Макабре ухмыльнулся:

— Вот если бы ты был в том лагере... — Взмах на юг, в сторону напиравших казаков. — Я бы мог сказать, что ты воюешь за мальчика в матросском костюме. За белую колоколенку над речкой. За веселую ярмарку в престольный праздник. Ты за прошлое воюешь, за изжитое. Но ты на нашей стороне, и я не знаю, почему ты здесь.

— А ты за будущее! — с охотой примерив на себя маску желаемого для Макабре собеседника, входил в роль Гадюкин. — За мир без границ и рубежей! За то, чтоб в нем разговаривали не на языке оружия и капитала, а на языке дружбы и взаимного труда.

— Скажи это снова, только без своей паскудной иронии.

— Ты же понимаешь, что это утопия, — не вопросом, а утверждением заключил Гадюкин.

Макабре и на секунду не задумался:

— Ради того, чтоб крестьянин не голодал, детишки поголовно в школах учились, прибыль от завода рабочему шла, а не фабриканту. Даже так мои лозунги выше твоих.

— В лозунгах-то вы горазды, — выпалил Гадюкин и сам осекся: не заигрался ли он, не забудет ли Макабре, что перед ним мнимый противник, не потянется ли за маузером.

Начштаба увидел промелькнувшую тревогу на лице Максима, глазами дал понять: я помню, кто ты на самом деле. Он подкурил, прислушался к глухому мужиному гудению, подошел к запаутиненному углу и выжег его вместе с мухой,

пауками и накопленной пылью. Паутина коротко и ярко похнула. Спичка в пальцах Макабре сама собой потухла.

— У нас не только лозунги, — помахивая негорящей спичкой, деликатно сообщил он. — Еще и тонкая работа. Думаю, ты убедился, пока жил с нами. И мне нравится быть составной частью этой работы. Я врач, удаляющий опухоль.

— Только вместо скальпеля у тебя лом, который ты вогнал в грудную клетку больного и орудуешь там, разворошив все, что строилось до тебя тысячу лет, — холодно заметил Гадюкин.

Он и сам понять не мог, откуда брались в его голове слова, словно их надиктовывали. Начавшись как простая игра, беседа их сильно пошатнула Максима. Он не хотел больше бездумно идти вслед за полком, лететь туда, куда гнал его попутный ветер.

И Максим заговорил уже от себя:

— Ты наверняка был на Бородинском поле, бродил там между обелисками... А я недавно попытался представить: какими будут памятники после нашей войны? Тоже с золочеными буквами? Перед ними не захочется склонить головы... В конце концов, мы поубиваем друг друга, но врага так и не увидим.

Макабре вытащил из губ едва поджуренную папиросу, сжал ее, раскрошил в не почувствовавших огонька пальцах, с болью прикрыл глаза:

— Не знаю, кто сейчас говорил: ты настоящий или ты придуманный... Уходи...

Гадюкин немедленно вышел. Макабре развернулся к вмазанному в стену окошку. На смену мушкетерскому гудению пришел новый звук — скрип качелей на улице. Он прорывался сквозь тонкое стекло, размежевал его веки. Макабре увидел дочерей хозяина дома: они стоя раскачивали длинную доску, то приседая, то вновь выпрямляя ноги. Доска плавно летела по воздуху, баюкая девочек.

Он глядел на качели: «Изменить ничего нельзя. Из мальчика с одинокой слезой вырос Сахаров — и, возможно, ближайшей ночью дочери вдовца станут наложницами в его бархатном гробу».

Яник открыла глаза на скрип качелей. В проем распахнутых ворот конюшни влетал край доски с одной из дочерей вдовца и снова исчезал. Она была не старше этой девочки, когда ее встретил студент. Посреди улицы детвора играла в «кавуна» — насыпался из дорожной пыли дымчатый курган, и чем замысловатей его разрушить, тем веселее забава. Мальчишки с разбегу заезжали в «кавун» голышками, прыгали, топтали, подсовывали руки и опрокидывали на себя. Одна девочка задрала подол и уселась на «кавуна». Яник стояла у плетня, вздохнула, зубы сверкали на ее посеревшем от пыли лице. Она тоже кидалась на «кавуна», хотя шел ей четырнадцатый год, и с играми полагалось скоро кончать. Ее окликнул нездешний студент, подозвал к себе, протянул румяное яблоко. Она протерла подолом подарок, еще не осознавая, какую силу имеют набравшие зрелость ее оголенные ноги. Яник не раз засматривалась в осколок зеркала у печки, находила в лице своем материны черты и вслух мечтала: «Скоро я совсем стану похожа на мамку».

Студент позвал ее к себе на квартиру, сказал, что там у него полно таких яблок, еще пряник есть медовый, пастила. Она набросилась на халву, а он стал целовать ей шею. Вначале было щекотно, и она заслонила, даже перестала жевать, хотела выплюнуть, потом проглотила сладкий комок, почувствовала внутри неведомую истому, как после растаявшей халвы... Захотелось, чтоб он вновь обхватил цепкими руками выше колен. В конце навалился звериный голод: она лежала, где ее бросили — на смятых несвежих простынях... И только голод и пустота, голод и пустота. Раз за разом, когда он брал ее, голод немного стихал, а пустота поселилась навечно и никуда не исчезала.

Под конец лета все село знало о них. В тот вечер она пришла с улицы, и отец

погнался за ней с работом в руках вокруг хаты. Подкованный каблук прилетал ей между лопаток, врезал по темени, отец едва не ухватил ее за волосы, но она перелетела плетень, скрылась до зари в подсолнуховом поле, а наутро пришла к студенту, больше было не к кому.

Он увез ее с собой в город и поселил в странном доме. За лето ребенок налился женскими соками, купленное в городе платье тоже сыграло не последнюю роль — ее приняли без документов и проблем. Поначалу она считала приходивших мужчин, на третьем десятке сбилась и перестала считать. О голоде она совсем позабыла, а пустота только росла. Прожила в этом месте с год, а может, и больше. Яник перестала смеяться, мужчины часто жаловались на нее хозяйке дома за холодность, хозяйка грозилась сдать ее в дешевый солдатский бардак. Яник не была равнодушна, имела страх перед руганью хозяйки и ненадолго становилась приветливой, как все. Потом пустота снова ее пожирала, выедала краску с лица и любезность в голосе.

Хозяйка рано или поздно наверняка бы исполнила свое обещание, но приехал лысоватый господин и сделал заказ. Яник не понимала, куда ее везут, зачем раздевают, бреют в подмышках и внизу живота, расписывают бледными красками все ее ставшее гладким тело. Она очнулась у ростового зеркала в полутемной комнате. На нее смотрела кукла, выкрашенная под гжель, фарфоровая пустая игрушка, в кокошнике на пегих волосах.

Ее ввели в розовый будуар, оставили наедине с господином. Он вертел в тонких пальцах бокал с шампанским, смотрел сквозь него на разрисованное тело, восхищался на своем нездешнем языке. Яник вновь увидела себя в зеркале с белоснежным оштукатуренным телом, с неживыми лепестками синих цветов внизу живота, с маленькими сердечками на сосцах и двумя косами, перекинутыми на грудь...

Качели скрипнули последний раз, и девочки вместе соскочили с них. Теплый, сухой ноябрь перевалил за середину, дотлевал. На смену спешила хмарь, ползавшая по небу, грозилась расхлябать дороги. Поздняя осень одряхлевшей старухой растеряла свои волосы, облысевшими стояли деревья.

Из барского дома вышел молодой боец в офицерской бекеше. Яник его подмечала, приглядывалась, мельком видела в бою у моста через Таганку, на окраине Лосева. Он впрыгнул тогда на броню громадной четырехколесной машины и указил для обходного маневра с фланга со взводом конницы.

Парень прошел к колодцу, поднял ведро воды, стал пить через край. Яник отряхнула с одежды сено, бегло оглядела себя в полумраке конюшни, накинула шинель и размеренно вышла через ворота.

— Привет, служивый. Ты ведь из Бобровского? Пройдемся вместе?

Голос ее был с задоринкой, но без кокетства. Она внезапно увидела налипшую на штаны былинку, стала ее стряхивать. Максим отлип от ведра, увидел ее движения, мигом нарисовал себе картину в голове.

— Ты как здесь? Он что, нашел тебя? Сахаров тебя нашел?

— Никто меня не находил, не терял, да и не искал, — беззаботно бросила Яник.

— Отчего ж ты здесь? — таращил глаза Максим.

— Охота есть, вот и здесь.

На его презрительный взгляд она, спохватившись, ответила:

— Да не про то ты решил, — в легкой усмешке оперлась Яник на руку Максима, схватила за каблук сапог и, стащив его, стала делать вид, что вытряхивает камень. — Я в конюшне люблю ночевать, дух от сена там мягкий, да и лошадьми еще долго в ней тянет, даже если пустая она и лошадь угнали...

Максим обеими руками держал ее под локоть, ловил аромат сена, лошади и сокровенный запах терпкого бабьего пота.

— А я подумал, тебя в это гнездо по его приказу приволокли... Ты знаешь, кто такой Сахаров?

Она ответила не сразу, долго смотрела на него, остро чувствуя жалость: «Милый ты мой, душка ангельская, неушто у тебя за мной сердце болит?» — и произнесла:

— Кто ж его не знает? Всему Южному фронту известный...

Яник не смогла вымолвить ругательства, выбил Максим ее из колеи.

— Ну так что, проводишь? — натянула она сапог и вколотила каблук в землю.

Они долго пустословили, пока шли от усадьбы к слободе, стояли в очереди к полевой кухне, примостившись на спиленных бревнах, хлебали жидкую кашичу. Яник расспрашивала его о прошлой жизни, откуда родом. Он отбивался общими фразами: из губернского центра; родители состоятельные, образование кой-какое ему дали; женат был, осталась женка на Украине. Сам ни о чем не узнавал, но не мог отогнать внутри себя радости, что не была она этой ночью ни с кем, тем паче с этим монстром Волчанского полка.

Максим просил ее в усадьбу больше не ходить, и она ответила:

— Мне отдельное помещение надо... по женской надобности, понимаешь? У тебя баба была, ты эти вещи должен знать. А в слободе теснота, солдаты с хозяевами в горенках спят, на полах кожанки постеливши. Я без вечернего мытья не могу, а у конюшни и колодец рядом, сам сегодня видел.

Максим осторожно предложил:

— Хочешь, схожу к командиру, выберем тебе апартамент?

— Не люблю в тягость быть, — отвернулась она. — Да и когда в полк принима-ли, сказано было: чтоб никаких нежностей, спрос, как со строевого бойца.

Он не стал спорить, но в штаб тихонько заглянул, пошептался перед этим со своим командиром Шашкиным. Батальонный писарь Тихон, покинувший Белогорье вместе с войсками, сбежал куда надо, провернул «от имени и по поручению» рычаги в хоззведе.

Яник встретила Максима уже под вечер:

— Твоя работа, старатель? Признавайся. Целую халупу с печкой мне выделили. Отделение оттуда в конюшню услали.

— Даже не знаю, о чем ты, — сиял он.

— Ну, заскакивай в гости. Чайком разжилась, пополощем кишочки.

Максим долго маялся, крутился у ее халупы, хотел заглянуть в горевшее светом окошко — и не решался. Думал: «Прийти пораньше, тогда сидеть будем недолго, я обязан буду сказать, что ей пора ложиться, ведь еще приготовления, женские хлопоты и все такое. А если выждать все процедуры и прийти позже? Нет, пока я не приду, она никаких процедур затевать не будет, приду сейчас. Приказ на раннее выдвигание завтра объявлен, долго сидеть все равно не получится».

Яник только зажгла лампу, сразу разделась и стала ждать. Затопила печь, нагрела воды, искупалась в лоханке. Все не торопясь, все размеренно. А он никак не приходил. Яник ждала его не потому, что хотела отблагодарить за хлопоты, за выбитый «царский» апартамент. Ей не забыть было той минуты, когда он спросил: «Ты знаешь, кто такой Сахаров?» В душе ее накалила жалость: «Дурачок милый, а меня-то ты знаешь?»

Она успела выстирать белье, повесить его над горячей плитой, и только теперь скрипнула в сенцах дверь. Максим вошел, согнувшись под низкой притолокой, не до конца распрямил шею с плечами и увидел ее на табурете у печки. Яник сидела со сдвинутыми коленями, чесала костяным гребнем подсохшие волосы. Он хотел тут же дать обратный ход, уже шагнул назад в сенцы одной ногой, но не отворачиваясь, смотрел на нее, и она глаз не отводила. Секунда его задержки, полсе-

кунды... Она уронила гребень, взяла груди в ладони и погрузила себе в губы левый сосок.

Максим вспомнил свою первую женщину, не переставшую быть ему законной женой, вспомнил Устинью, ее недосыгаемую соседку, так и не ставшую для него третьей...

ГЛАВА XXXVI

Со стороны Семеек на окраине Белогорья появился казачий конный разъезд. Он проехал до центра слободы и свернул на Подгоренский шлях. Казачью разведку любопытно осматривали из-за плетней редкие смельчаки, в основном из числа стариков, облаивали бестолковые собаки. К обеду в слободу вошли несколько сотен на строевых конях, а к вечеру висел на дверях каждой лавочки размноженный от руки листок:

«На основании приказа Воронежского генерал-губернатора Семенова объявляю местность на военном положении.

I. Упраздняются комитеты и комиссары.

II. Запрещаются митинги и собрания.

III. Восстанавливается частная собственность.

IV. Всякие выступления беспощадно будут подавляться вооруженной силой.

V. Все приказы и распоряжения, исходившие от комитетов и комиссаров, отменяются.

VI. За невыполнение этого приказа виновные будут предаваться военно-полевому суду».

Воронеж оставался за красными, но казачью администрацию это не пугало, своего генерал-губернатора они уже назначили. В отвоеванном у красных районе начали формировать Русскую армию. Ее командующим назначили все того же генерал-губернатора В.В. Семенова. Вернее, эта армия начала формироваться еще летом вдали от Воронежской губернии. Атаман Донского войска подсмотрел уже существующую для нее основу у Скоропадского.

Минувшим летом в Киеве был создан союз «Наша Родина». Гетман видел, что его покровители-немцы медленно катятся в пропасть, и поэтому начал переживать за безопасность украинских границ. Союз приступил к созданию Южной армии. За три месяца по всей Украине открылись 25 вербовочных бюро, через них перетекли в ряды армии 16 тысяч добровольцев. В штаб поступали предложения от целых офицерских составов, кавалерийских и пехотных полков, сохранивших императорские знамена и штандарты, вступить в армию при условии сохранения их частей.

Гетман охотно давал средства на рождение и разрастание будущей армии, даже когда ее переподчинили войску Донскому. Теперь она должна была формироваться из крестьян Воронежской, Саратовской и Астраханской губерний. В Богучаре сколотили первый пехотный батальон, набранный по округе принудительной мобилизацией.

Двигать дальше на север одних изнемогавших казаков к осени стало невозможно. Крайняя усталость брала свое. Чувство жуткого одиночества в борьбе с огромной Россией тяжело угнетало донскую вольницу: «Мы готовы спасти Россию, но пусть с нами идут крестьяне и рабочие — наши бывшие однополчане на германском фронте. Дону самому не справиться с потерявшей голову Россией».

Чем плотнее опускала осень свое покрывало, тем чаще уходили по домам дезертиры. Хозяйство без рабочих рук гило, разваливались курени, и шло прахом

нажито на казачьих базах добро. В ущербе делу наступления командованию пришлось увольнять старых казаков для сбора урожая.

Идея с «Южным» формированием сочувствия в Добровольческой армии не нашла. В создании ее генерал Деникин усмотрел ослабление своего детища и даже обиду для себя. Не нравилось ему, что к делу был причастен гетман и немцы, а их он, в отличие от атамана Краснова, продолжал считать своими врагами.

В прессе Екатеринодара шумно завертелась компания против Южной армии, посыпались нелестные отзывы о ней из ставки. Лучшие офицеры стали сторониться ее. Из района Богучара армию перебросили в Чертково и Кантемировку, переименовали в «Воронежский корпус». Выяснилось, что и до численности корпуса она не дотягивает: в ней едва две тысячи и не более половины боеспособных, а остальные — священники, сестры милосердия, просто дамы и девицы, офицеры контрразведки, полиция (исправники и становые), старые полковники, расписанные на должности командиров несуществующих полков. Отдельные боеспособные кусочки «Воронежского корпуса» растворились в Донской армии и воевали на разных фронтах.

Слобода к приходу новой власти как могла приготовилась. Собрались люди пожилые, почтенные, в последнее время — подзабытые: Шевцов, оба Слюсаревых, Лозовой; без батюшек, само собой, не обошлось. Они и выбрали вместо бежавшей на север власти нового волостного старшину. На должность эту требовался человек почетный, заслуженный, сединами убеленный, но и не шибко зажиточный, чтоб капиталов за ним больших не водилось, ведь красные вновь могли вернуться. Положение казачье было шатким, все помнили, сколько раз Павловск из рук в руки переходил.

Старик Утянский подходил по всем категориям: годов немало, кресты и медали за компанию турецкую, в девятьсот первом — девятьсот втором годах уже в кресле волостного старшины сиживал, обязанности «головы» он с тех пор не позабыл.

Тем же вечером Утянский встречал офицерскую делегацию на порогах волостного правления. Хлеба-соли заготовить не успели, но в колокола грянули. Пришли к управе как в старые добрые времена — одни домохозяева, бабьим духом и не пахло. Утянский поклонился офицерам в пояс, сказал коротко приветственное слово, а потом обернулся к слободскому сходу:

— Господа старики! — Звякнули ему в помощь серебряные награды. — Мне дорого глядеть, что господа офицеры — люди как люди: при погонах, заслугах, нагрудных знаках. Подтянутые, стройные. Не то что ушедшая от нас шантрапа! Давайте поддержим господ офицеров и будем с ними заодно!

Ставров, возглавлявший офицерскую делегацию, сдержанно отвечал полагавшимися на торжественный случай фразами, затем тоже обратился к толпе:

— Я рад, дорогие земляки, что снова стою на освобожденной белогорской земле! Я вижу недоумение на ваших лицах, мол, кто таков? Почему нас земляками зовет? Я был у вас до войны, два лета провел у родни и имею честь называть вас земляками. Слава Богу за все!

Он сдернул фуражку, перекрестился на позолоту колокольного креста, отводя взгляд, наткнулся на висевший красный флаг над управой. Ненависть мелькнула в глазах, он ее подавил и снисходительно обернулся к Утянскому:

— Что ж ты, отец, подводишь?

Утянский виновато улыбнулся, еще не зная, в чем его промах, стал шарить глазами. Ставров выразительно кивнул на козырек с флагом. «Голова» суетливо забормотал:

— Ваше благородие... Платон Александрович... Мигом сымим...

— Уже не надо, — ласково бросил Ставров, расстегивая кобуру.

Утянский побелел лицом до такой степени, что некоторым показалось, будто седины в его бороде прибавило. Старик знал фамилию Ставровых и даже помнил юного Платошку, когда тот приезжал из далекого Заволжья гостить у своей белогорской родни. Знал он и его двоюродного брата, почти полного тезку, тоже Ставрова и тоже Платона, только Павловича. Два года он был земским начальником, и в его участок входило Белогорье. К работе он приступил ревностно: с первых дней кинулся выбивать из крестьян налоговые недоимки, не боялся при этом «замарать» рук — бил крестьян и даже женщин, выводил со двора должников скот, выносил подушки, самовары и прочую рухлядь. Попробуй такого забудь. Небось и этот, что стоит теперь в форме, такой же мироед и самодур.

Ставров выпустил обоим из маузера, целясь в древо знамени. К нему присоединились другие офицеры, кроме одного. Стреляли не так торопливо, как Ставров, — флаг с перебитой палкой упал на землю. Бледность медленно сходила с Утянского.

— Патроны жалеешь? — пряча маузер, спросил Ставров Щербу.

Тот кивнул в сторону круживших над площадью ворон, сорванных с веток стрельбой:

— Нет, божью птаху.

Ставров рассмеялся в голос.

Выстрелы разнеслись в стылом осеннем воздухе, перелетели через Дон, эхом аукнулись в Дуванке. Ирина подняла вилами сено, кинула в коровьи ясли, заправила под платок прядь волос. Из поросячьего котуха высунулся Дмитрий, радость гуляла на его лице:

— Опять бой, что ли?

Ирина молчала, на его непонятную веселость глянула тревожно и хмуро. Он пояснил:

— Неделю уже стрельбы не слышать, я подумал, что кончено с нашими... За Воронеж их погнали. А они — нет, борются.

— Вот они тебе и «нашими» стали, — печально выронила Ирина.

— А чьи ж они? — удивлялся бабьей непонятливости Дмитрий.

Всю осень над Дуванкой посвистывали пули, рвалась над проулком шрапнель. Как и в Белогорье, хоронились жильцы по погребам, теснились в своих жилищах, давая кров и нехитрый уют расквартированным казакам, делились хлебом. В хате Безрученков сменилось три воинских состава, не успевали привыкнуть к одним, как их перекидывали дальше. Дмитрий за неделю до их первого прихода упрятал на чердаке привезенную с фронта офицерскую шинель.

Казаки вели себя сносно, не безобразили, к бабам и девкам не приставали, хоть и дружелюбия от них ждать не приходилось, порою даже поругивали домохозяев. Один раз прицепился худой и длинный казачина к Дмитрию:

— Чего с нами не идешь? В иногородний полк запись идет.

— Мне война вот где, — отводил в сторону взгляд Дмитрий и шлепал себя по загривку.

— Где ты, сопля, успел навоеваться? Ты только с женкой на печке воевать умеешь, — хохотал казачина, и товарищи его подхватывали веселый галдеж.

Дмитрий боялся смотреть в сторону Ирины, на своих отца и мать, боялся их жалеющих взглядов, чувствовал себя как в чужой хате, не выдерживал и срывался на крик:

— Я на мобилизацию вашу откликаться не должен! Мы вас звали? Освободить нас просили? Нам хорошо жилось! Чего вы к нам полезли?

— Не мы к вам, а вы до нас на Дон сунулись! Власть свою мужичью потянули! Сидели б тихо, никто б вас не трогал. Шерсть вонючая!

Дмитрия обступали мать и жена, гладили по рукам и лицу, успокаивали, но это было лишним, он и так бы никуда не пошел. Ночами под казачий храп из соседней комнатенки он налагал на себя горячие клятвы: «Только б пришли красные, а там пойду за них».

Ирина видела, как разгорелся его взгляд при эхе долетавших выстрелов, отвернулась к стогу, с болью закусил губу: «Опять ты, пропасть ненасытная, забрать его от меня хочешь!..»

Дмитрий за лето выправился, по ночам больше не вздрагивал. Работа и повседневная суета сделали свое, затянули раны в его памяти, полноценно вернули к жене. Один раз он стащил ее с соломенной копны за подол прямо в поле. Ирина отбивалась, сетовала, что кругом голая воля — глазом не обнять, их видно, а он отмахнулся: «Нет никого». Неделю назад, утром, она впервые ощутила шевельнувшийся внутри плод.

Вечером Ирина помогала свекрови стряпаться, гоняла по длинному долбленому корыту пшеничную крупу, прыскала на нее смесью сырых яиц и молока, сеяла мукой, готовила «катанку». В кухню из сеней вошел свекр, свалил перед печью рядом с киззяками. Евдокия сказала мужу:

— Надо бы, отец, день выбрать — в монастырь сходить. С зимы не были. При нынешней власти теперь можно.

Григорий уселся перед зевом печки, трещал растопочным хмызом¹³, ладил пучок травы под него, недовольно пробормотал:

— Сиди, богомолка. Как пойдешь? У паром караул казачий, ход по пропускам только.

— Лед скоро станет, — покорно толковала ему жена. — На Михайлу к нам часто белогорцы по перволедку проходили, к престолу.

— Дожить еще надо... До Михайлы, до перволедка, — бурчал Григорий.

Нынешняя власть его не радовала, приходилось возвращать землю прежнему хозяину, хоть он пока в здешние места не вернулся. Успели с Дмитрием собрать с «подаренного» Советами надела урожай, но где гарантия, что не придет завтра бывший владелец тех десятин и не прикажет вытряхнуть закром. Только бабе глупой радость — в монастырь дорога открыта.

Обитель ждала торжественную делегацию от казаков. Настоятель распорядился о генеральной уборке монастыря: чистили подворье, выносили мусор из братских корпусов после квартировавших там красных бойцов, из довоенных сбережений достали остатки стекол, правили выбитые окошки.

Феликс впервые работал с такой душой. Он решил про себя, что спасения ждать неоткуда, да и сам смысл спасения для него поменялся: Феликс больше не искал телесного спокойствия. Ему по-прежнему были в тягость общие с братией молитвы, по-прежнему требовал от него благочинный большего усердия в молитве. Но он научился не озлобляться в ответ, пропускал упреки мимо души.

Радостью наполняло сегодня руки и ноги Феликса оттого, что монастырь стал ему родным домом, а не перевалочным местом. Виделся скорый славный исход: в обители полно богомольцев, а с ними — пожертвованый, подношений, тихих уютных дней. Хотя Феликс продолжал переубеждать себя: это не должно быть главным для него, это все вторично, спасение не в крепких стенах, теплой келье и сытной вечере.

На исходе дня появилась в распахнутых воротах обители небольшая конная группа. Ехали вразброд, не соблюдая строя, по лицам и пьяным ухмылкам быстро прояснилось, что никакая это не делегация. Офицеров среди них не было, вы-

¹³ Мелкий хворост (*суржик*).

делялся старший в урядничьих погонах. Они встали перед настоятельским домом, урядник громко скомандовал:

— А ну, главного попа мне сюда — живо! И самим строиться, чтоб ни одна собака у меня без спросу мимо не прошмыгнула.

Настоятеля звать не пришлось, он сам вышел на казачью брань, вцепившись в перила высоких порожков, гневно вымолвил:

— По какому праву здесь командуете? Кто среди вас начальник?

— Замри, тебе сказано! Где смирение, поп? Ты ж к нему нас всю жизнь приучал.

Настоятель разглядел в глазах урядника и иже с ним грозную решительность, подкрепленную пьяным разбойным нахальством, ничего хорошего больше не ждал:

— За что такой тон, господа казаки?

Из-за спины урядника выехал невзрачный казачишка, едва не падая с седла, прокричал:

— С вашего гадюшника пушкой по нас крыли! Батьку моего в куски разорвало!

Загомонила вся орава:

— Вы, черное семя, с большевиками заодно!

— Сровняем с землей все!

Игумен Поликарп наложил обе руки себе на то место, где должна храниться душа:

— Мы подневольные! Пришла сила, поставила, что им вздумалось, и стала палить. Пришли вы — то же самое. Кто защитит нас, кто убережет?

— А-а! Так ты с красными нас равняешь?!

Настоятель отчаянно искал спасения, говорил первое, что придет на ум:

— Даже красные нехристи такого не делали, грабить нас грабили, а чтоб монастырь сровнять — не грозились.

И тут же опомнился:

— Казачий народ — верующий! Всю дорогу к нам с Дона богомольцы шли, с самых дальних мест.

Из конной толпы протиснулся вперед еще один, крепкий, усатый, с двумя «герогинами» на шинели:

— Твоя правда, поп! Били мы лбы о полы ваши каменные, да нынче не будем. Бабка нас с братом с мальства на богомолье таскала, братан и застудил на меловом полу ноги, уснул в пещерной церкви. Всю жизнь ему ваша вера переломала, с десяти лет на костылях мучается.

Настоятель дрожал нижней губой, молвил несмело:

— В пещере, чадо, молиться следует, а не сны смотреть...

— Так оно — дите несмышленное, за что его карать? Нехай бы бабку твой бог наказывал!

Урядник вылез из седла, поставил ногу в сапоге на нижнюю ступеньку, сказал настоятелю снизу вверх:

— Я тебе покажу, старик, какой я веры.

Обернувшись к ватаге, крикнул, диким голосом вгоняя страх в братию и решимость в сотоварищей:

— Тащи икону!

Братию не сгоняли, она сама собой собралась, готовая встретить ужасы и расправы, никто по углам не прятался. Феликс вызванивал зубами дробь, гипнотизировать никого не пытался, только мысленно просил пощады у Того, к кому взывал день ото дня все чаще.

Казаки забежали в новый храм, не обнажив голов, вынеслись оттуда с росто- вой иконой на руках. Доска — обшитая тонкой жостью, не выветрившая запаха

олифы: Богородица в сине-зеленой ризе и алом мафории держала перед собой Младенца с распашнутыми для объятий руками.

Урядник вытащил из кобуры револьвер, покрутил им:

— Вот во что я верю, старик.

Казаки прислонили икону к высокому фундаменту настоятельского дома, гаркнули на столпившуюся братию — монахи сыпанули в сторону. Урядник отмерял шаги:

— Сейчас ты увидишь, поп, что картинки твои ни черта не стоят.

Он отошел саженой на десять, обернувшись, увидел Феликса, весело крикнул ему:

— Если жить не надоело, так пройдишь в сторонку трошки.

Феликс рухнул рядом с иконой на колени, обернувшись к казакам боком, зажмурил веки. Урядник вытянул руку и сощурил глаз.

Первая пуля легла рядом с плечом Богородицы, в золотистый цвет облака. Вторая улетела еще дальше в «молоко», почти в самый край иконы; еще немного — и полотно осталось бы невредимым. Среди казаков кто-то не выдержал — ехидно усмехнулся. Урядник переступил с ноги на ногу, незаметно (как ему показалось) приблизился на полшага. Выстрелом продырявило красный покров на плече Марии. Стрелок, поощренный довольным гудением, обернулся к своре:

— Пометили «непорочную». Теперь вдарю пащенка.

Круглая отметина легла на воротник белой младенческой распашонки. Среди казаков нарастал гогот, оскалились зубы в улыбке.

— Морду ей помну, — хвалился урядник, выцеливая твердой, несмотря на пьяный голос, рукой.

Она у него и в правду не дрожала, и призовой значок за меткую стрельбу на груди висел, но пятая пуля шлепнулась рядом с виском Богородицы, сделав аккуратную дырочку в золотистой пелене облаков. Стрелок, не боясь укора товарищей, сделал громадный шаг, придвинув себя к цели, лупанул снова. Строго посредине лба в красном покрове появилась пулевая рана.

Урядник злобно плюнул, вытряхнул барабан, дрожащими пальцами снова набил его и подошел к иконе вплотную. От вытянутого дула до лика было не больше сажени. Стрелок уверенно надавил спуск. На конце пистолета выросла огненная трость, столкнувшись с иконой, она брызнула искрами, словно натолкнулась на препятствие. У всех стоявших глаза обдало яркой вспышкой — и, когда она исчезла, казак, стрелявший по иконе, выронил револьвер, схватился за разбитое пулей запястье. Лик Богородицы оставался нетронутым, в иконе не добавилось нового отверстия.

Стрелок рухнул на колени рядом с иконой и Феликсом, глядя на капавшую с пальцев кровь, истошно заверещал. Он носил в теле две раны с германской войны, он бился на каждую Масленицу в кулачных свалках, он четыре года не вылезал из седла, кочуя с фронта на фронт, но никогда так отчаянно не кричал и не боялся.

Лихо настегивая лошадей, через распашнутые монастырские ворота неслась прочь вся ватага, никто с раненым не остался. Братия остолбенела, как сраженная громом, настоятель медленно крестился, не сходя с высоких порожек.

Феликс протянул руки, пережал ими казаку раненую конечность. Игумен Поликарп обрел дар речи:

— Кто-нибудь, принесите чистой ветоши, обмотайте ему рану... Не хватало, чтоб он еще помер тут у нас...

Часть братии кинулась исполнять распоряжение, другие стали креститься, не в силах сойти с места, брат Афинодор закрыл лицо бородой и рыдал в нее.

Когда принесли тряпки и стали бинтовать руку урядника, Феликс разжал паль-

цы. По щекам его из-под закрытых век катились слезы, он стал собирать их в ладонь. Икона была в шаге от него, зияла пробоинами, через которые тек закатный свет. Он стал вкладывать слезы в пулевые пробоины и одна, упавшая мимо раны, подсвеченная багровым лучом, из прозрачной стала цвета крови, сползла по нетронутому женскому лику.

ГЛАВА XXXVII

Осень оделась в старые обноски. Деревья облетели до конца, палая листва поблекла. На смену сухому ноябрю пришла привычная для здешних мест и времен сыкость. Морозом не сильно ударило, прошел снег. Он лег на одну ночь, а поутру, хоть тучи в небе не разъело солнцем, наступила оттепель, и заволокло округу туманом.

В этих смутных потемках бродили цепи красных и белых, наталкивались друг на друга, гремела в дымчатой непролазной мгле стрельба. Люди торопились на выручку, напарывались на невидимого противника, попадали в засады. Никто ничего не знал: где свои, где чужие. Ждать, когда морок спадет, тоже было опасно, боялись оказаться в тылу врага, отстать от своих, поэтому бродили, наталкивались, стреляли в туман.

Командир Белогорского батальона Шашкин вывел свое войско на охоту еще по ночи. В их лагерь прибежал изможденный земляк в одежде с чужого плеча. Его оставили на станции Пухово меньше суток назад вместе с другими ранеными. За ночь он прошел восемнадцать верст и чудом встретил свое войско. В одном месте его одели, дали плохонькую обувь, накормили, обогрели, а так он бежал из плена в натальном белье. Земляк рассказал белогорцам такое, отчего весь батальон тут же, не дожидаясь утра, решил сняться и идти на поиски врагов — для суда и мести.

...Их оставляли на станции: больных, раненых, обессиленных дневными переходами, пожилых крестьян из хозяйственного взвода, обозников. Максима Гадюкина второй день трясла лихорадка. Он лежал на ворохе соломы в покинутом, бездвиженном вагоне. Яник решила быть с ним. Сильная, здоровая, наверняка еще не зараженная, она оставалась. Максим кутался в бекешу, говорил через поднятый к губам воротник:

— Иди с отрядом... Заболеешь... Не глуши...

Она брала его ладонь в свою, он склонял лицо к ее рукаву, вдыхал простеганный душистым сеном запах шинели, в голове туманилось: «Молодая богиня, годами не старше меня, но видевшая в разы больше...» Они были вместе только одну ночь, но и ее хватило, чтоб Яник в это утро не ушла с полком.

Той единственной их ночью она вспоминала, как стала другой... вновь увидела себя в зеркале с белоснежным телом, с двумя косами, перекинутыми на грудь... Она вспоминала, а потом стала рассказывать Максиму про вечер, когда приблизилась к зеркалу в розовом будуаре, осторожно взяла с полки крохотные маникюрные ножнички, такими даже куренка не убьешь, и вогнула их в кремового цвета мужские кальсоны по самые колечки. Вместе с воплем обряженного в кальсоны господина раздался треск разбитого окна — его выломил «летающий» столик с закусками. Яник выпорхнула из клетки...

— Как есть, в одном кокошнике. Ногу, вишь, прорезала, аж кость белелась, — провела она по шраму у себя на бедре.

Максим приподнялся с подушки, несколько раз коснулся шрама губами.

— И как ты выжила?

— Бежамши через весь город: темень была, и на улицах никого. В реку сиганула, на той стороне выбралась на берег, а сентябрь уж был, знобко. Рану тиной за-

лепила, в кустах дрожала до полутра. Потом баба вдоль реки из городу возвращалась, я позвала ее, она мне цигейку свою оставила и домой за одежкой убежала... Это на втором годе войны случилось. Скиталась по хуторам глухим, на поденную жила, еле на пропитание хватало.

Максим вспоминал себя на вторую военную осень: юный бестолковый гимназист, не до конца расставшийся с детством. И она, Яник, в те же годы познавшая все жизненные тайны, готовая к своей и чужой смерти.

Яник после побега почувствовала, что пустоты внутри нее поубавилось. Она долго не могла принимать мужчин. На хуторах, куда она нанималась, было довольно не подчищенных мобилизацией крестьян, на нее часто заглядывались. Голод и пустота от нее никуда не девались, притихнув, они снова нарастали, выедавая ее изнутри. Яник изматывала себя в работе, пробовала ходить в храм, высушивать себя постами, и так не было нужды — жила впроголодь. Однажды поутру она увидела стригунка с белесой мочалистой гривой, залюбовалась тем, как ищет он материно вымя, радостно взбрыкивает на нетвердых ногах.

Пустота исчезла, когда внутри женщины поселилась маленькая жизнь. И этот голод с пустотой наверняка к ней никогда бы не вернулись...

Выкидыш случился на следующий день после встречи с отрядом. Ее ни за что не взяли бы в полк, но она пришла и встала перед солдатами с завернутым в холст мертвым младенцем, сказала, что сейчас схоронит его и ждет от командира указаний, где ей взять оружие и форму, как раздобыть лошадь. Весь полк чувствовал вину за нерожденного детеныша, все до одного встали на сторону горькой бабьей мести. Яник была беспощадным бойцом. Зародилась в ней ненависть и злоба, а с ними рядом опять набухли внутри подзабытые голод и пустота. Яник стала навещать солдат, и после таких походов терзавшая изнутри стихия на время затихала.

Она оставалась при этом верным товарищем: то, что случалось ночью, наутро не поминала сама и не давала повода для воспоминаний другим. Она дралась с отчаянностью... Уже при Гадюкине, когда он попал в отряд, в сложную минуту боя Максим видел ее, Яник кричала:

— Слабаки! Сражаться легче, чем рожать! Я проверяла!

Батальон поднялся после этого в атаку.

С Максимом Яник осталась в это утро не из жалости. Она смутно догадывалась и боялась признаться себе, что это...

Конный офицерский отряд появился на станции внезапно. Вышел из тумана, без единого выстрела разоружил жидкую охрану из нестроевых бойцов. По вагонам стали собирать больных и раненых.

Ставров терзал точеной спичкой свои глубокие дупла в зубах, поглядывал с презрением и холодной злобой. Сплевывая, он подмигивал Щербе:

— Загоним Смердяковых обратно в лакейские.

Щерба с самого начала все понял, и ему эта затея не нравилась. Он отворачивался, почти про себя шептал: «Своего смердящего рта никому не слышно». Его ослепляло одно: он не хотел прослыть жизнелюбцем и паинькой. Второй день Астанев бил удушливый кашель.

Пленных раздевали до белья, строили у кирпичной стены станционного пакгауза. От ватаги казаков несло:

— Тьфу, пакость... Этого не раздевай, вша с шинели сыпется... Слышь ты, доходяга, оставь шинелку себе.

Щерба рванул к Ставрову:

— Брось! Кых... И так умрут, половина из них тифозные.

— Тифозных они в отдельном вагоне держали, я приказал туда не соваться.

Тихон метался в ворохе соломы, одолеваемый клочкотавшим изнутри жаром. Сквозь забытые к нему прорывались через вагонную перегородку отдельные фразы снаружи. Сознание туманилось, как погода на улице, он от боли приоткрывал глаза, видел в проеме дверей деловитую казачью походку, видел край бело-нагельного строя, босых и жалких людей.

У пакгауза стояло два десятка обреченных, они сбивались в овечью отару, на них кричали, грубо растаскивали, пытаясь создать из них подобие строя. Казаки тащили упиравшуюся девушку, форму с нее успели снять, она, как и остальные, была в армейском белье.

— Полковиху поймали, ваше благородие!

— Ну что, сука, хорошо тебе под краснюками лежалось? Сейчас еще слаще будет.

Щерба секунду рассматривал лицо девушки, ее дрожавшее под бязевой тканью тело. В голове пронеслась картина суточной давности: в слободе, через которую они шли, стояла усадьба с качелями и девочки, порхая на них, весело смеялись, отгоняя прочь войну, разруху и ненастье.

— Не тронь! — рванулся от стены к казакам несчастный безумец.

— Максим, не над! Только хуже сделают! — взмолилась девушка.

Его свалили на землю кулаком, наступили кованой подошвой на измазанное кровью и черноземом лицо. Щербе показался знакомым злобный простуженный голос, хотя почти ничего в нем не осталось от голоса Петра Хвостова. Алексей подошел ближе, разглядел повзрослевшее, но все же узнаваемое лицо, обернулся к Ставрову:

— Этого отпусти со мной. На допрос.

— Неужели старый друг? — удивился с ухмылкой на устах Ставров.

— Знакомый, — бесстрастно произнес Щерба.

Его загнуло долгой кашляющей очередью.

— Ну, веди, побеседуй напоследок, — согласился Ставров, терпеливо дожидаясь, пока Щербу отпустит приступ.

Гадюкина подняли на трясущиеся ноги. Он узнал Щербу, в глазах его мелькнула радость со слабой надеждой, натолкнулась на ледяное равнодушие бывшего парикмахера, отозвалась отчаянием.

— Документы при нем были? — спросил Щерба, немного обескураженный именем, которым назвала его девушка.

— Тальков, подай бекешу с этого сосунка, — распорядился пожилой хорунжий.

Казак по фамилии Тальков принес казенную бумажку. Он слышал приказ и вопрос Щербы перед этим. Бекеша была поношенная, но настоящая, офицерская. Наверное, этот красноармеец снял ее с еще живого казака. Талькову хотелось оставить бекешу себе. А еще собственными руками убить красноармейца.

От стены отделился молоденький боец, несмело совал перед собой сохраненную в кулаке справку:

— У нас тоже документы, господин офицер. Вот... от сельсовета... мы мобилизованные, мы не добровольцы.

Гадюкин печально смотрел на помятый строй. Митя Данильченко — переписчик третьей роты, Шендриков Володька — племянш слободского учителя, братья Яценко, по-уличному званные Замогильскими (каков каламбур!), — Мишка и Вовка, сын бывшего председателя Павловской управы Женька Есманский. Ему-то, барчуку, чего не хватало? Зачем добровольно в полк записался? Все молодые, как и сам Гадюкин, не успевшие прожить двух десятков лет на земле.

Щерба развернул листок, все так же не выражая эмоций, ознакомился с документом, коротким взмахом велел Гадюкину идти за ним. Они зашли в сторожку путевого обходчика, Щерба присел на узенький подоконник. Максим баюкал робкую на-

дежду, стоял против него, тряся от волнения и болезни, нервно гонял мысли: «Как он может быть таким спокойным? Как он может сидеть? Будь я на его месте...»

Бывший парикмахер снова развернул бумагу и внимательно ее изучал. Алексей мог бы показаться Максиму новым, бесстрашным и хладнокровным Щербой, не способным на жалость и пощадку, если бы не его беспомощный кашель. Он сгибал Щербу все чаще, не давал ему свободно вздохнуть и сказать длинную фразу. Казаки на улице курили, переговаривались, творить казнь не спешили, очевидно, дожидаясь выпавшее звено в лице Гадюкина. Щерба разомкнул губы:

— Хочется мне, товарищ Гадюкин, рассказать вам... кхых-хы-хых... одну печальную историю. Жил-был на свете... кхы-хых... один человек. Милый, добрый, веселый, как многие из нас в юности. Родители в нем души не чаяли, друзей он имел много надежных. Кхо-кхы... С не очень звучной фамилией, правда, но все же таки какой-никакой, а дворянин. И вдруг стал он...

Щербу перебил на этот раз не кашель, а душераздирающий женский крик с улицы.

Он не оборачивался в окно, но и не продолжал своей прерванной истории, может, потому, что просто не хотел терять свой мнимый бесстрастный вид и повышать голос.

Казачья шашка, царапая тело, срезала с Яник белье. Женщину поставили на колени и, заламывая назад руки, наклонили вперед. Ставров не торопясь подошел к ней с одного бока и точным ударом отсек грудь. Оголились под кожей ребра — живот и бедра обнажила кровь. Так же вразвалку он менял позицию и снова срезал часть материнского тела. По подбородку Яник текли слезы вперемешку с кровью из прокушенной губы. Она подняла затуманенный взгляд на палача, подрагивая подбородком, силилась что-то сказать.

— Неужели ты считаешь, что моя ложь страшнее твоих дел? — глухим старческим голосом спросил Гадюкин у Щербы, не отрывая глаз от творимой за окном казни.

Щерба смял бумажку и бросил комок в лицо Хвостову.

Ставров выплюнул изжеванную спичку, плотноядно дохнул на казаков перегаром вчерашней водки и непереваренного мяса:

— Роняй ее на спину.

Казненную повалили, на руки и ноги ей встало по здоровенному мужику. Все четверо содрогнулись и едва устояли на ногах — жертва извивалась под ними, выламывала в суставах конечности, а Ставров насилывал ее обнаженной шашкой. Стошнило одного казака, и он сошел с жертвы, второй просто обхватил голову и со стоном побрел, не зная куда. Двое других держались, но отводили взгляд и с ужасом чувствовали под сапогом конвульсии казненной.

Ставров обернулся к ожидавшим своей участи еще живым пленным. Подергивая изувеченным лицом, он крикнул:

— Думаете, это я ее убиваю?! Мое лицо — это ваши грехи!..

Он ткнул окровавленной саблей в сторону кучки сбившихся уцелевших, словно готовился к бою и одновременно обличал их. Свистнула сталь, освобождаемая из ножен. Распаленные казнью женщины, казаки кинулись на строй обреченных, взяли их в шашки.

ГЛАВА XXXVIII

Из двух десятков казненных удалось бежать только одному. Он соскочил в овраг, и его видели, даже бежали вслед, но он затерялся в нательном белье среди не успевшего стаять снега, бесследно скрылся в тумане и наползавших вечерних сумерках. Уцелели и бедолаги тифозного вагона. В других теплушках мертвого со-

става казаки обнаружили запасы хлеба, лекарств, консервов и медицинского спирта. Сели заливать свое зверство, разбавляли его спиртом, утрамбовывали внутрь себя, пытались успокоить ходившие ходуном руки и сердца, навсегда пригвоздив в душах дурную память. Заснули кто где: возле костров, в станционных домиках и службах, в опустевших вагонах.

Белогорский батальон спускался по уклону через перелесок. Ночью придавило морозцем — и туман рассеяло, но к утру он стал наползать снова. На фоне черных стволов крался желто-серый морок, он окутывал их, ласково поедая. Командир батальона Шашкин радовался туману: «Он на нашей стороне, звон оружия заглушает, и колесный стук тачанок в нем тонет».

Из тумана обернулась разведка:

— Возле костров спят все, человек тридцать точно насчитали.

Шашкин расставлял людей, хладнокровно указывал, куда идти отрядам. Они появились из тумана бесшумно, успела грохнуть лишь пара выстрелов. Короткая рукопашная кончилась. Многие из спящих даже не успели схватиться за оружие.

Их согнали к той же стене пакгауза, к необранным растерзанным трупам. Около полусотни хмельных и помятых. Кто-то из них тряс головой, у другого мелко дрожало все тело.

Андрей Калинин метался среди командирского звена, хватал Шашкина и ротных за рукава:

— Каждому по конопляной тетке на шею! Через ветку перекинуть и натягивать поменьку: нехай спляшут в воздухе!

Шашкин смотрел на пленных, пытаясь угадать в них бывших фронтовиков, тоже травленных газами и меченных германской шрапнелью, потом коротко бросил:

— Расстрелять.

Калинков заскрежетал зубами, плюнул, выругался, но не перечил. Он подбежал к сбившейся толпе обреченных:

— Как такие благородия умудрились в крови себя искупать? Ведь книжки вам с малолетства читаны, по заграницам выгуливали вашу милость, университеты на блюде! Откуда ж вы этому научились?

Впереди толпы стоял один с побитым круглыми шрамами лицом, смотрел дерзко, незагравленно, за спины других не прятался.

— Учителя были хорошие, — подрагивая зажившими ранами, процедил он.

Калинков вгляделся; несмотря на изуродованное обличие, внезапно узнал его:

— А, земляк...

— Спутал, краснорожий, — бросил в ответ Ставров.

— Да нет, мы с тобой знакомцы давние. Год назад, в октябре, у Зимнего, помнишь? Ты тогда Керенского защищал. А я с Васькой Беловым... — обернулся на этих словах Калинин к сотоварищам, — такую контру, как ты, с лица земного счищал.

Ставров стоял с полминуты: может, вправду припоминал годичную давность, а может, совсем свежие времена — когда полк их стоял в Белогорье. И наконец спросил:

— А ты не Калинин ли часом? Председатель белогорский...

Калинков молчал. Было видно, что ненависть и бравада его тихо сменяется скрытым страхом. Ставров это тоже заметил:

— Ведь отца твоего мы повесили. Когда тебя на веревке притащат в Белогорье, то повесят рядом. Будь спокоен.

Залихватские усы с подкрученными кончиками подскочили вверх, открылись крепкие зубы Калинкова. Он выдернул револьвер и засадил весь барабан в грудь

Ставрову. Пять десятков пленных шарахнулись от первых выстрелов по сторонам, но к стене их прижимал плотный строй вооруженных людей. Они тоже по-срывали с плеч разнокалиберный огнестрел — туман рвало на клочья хаотичной стрельбой и выглянувшим солнцем. Когда стихли последние выстрелы, тишину не нарушал стон раненого или щелканье затвора: только прерывистое дыхание не до конца выплеснувших злобу людей.

Со стороны станционных служб раздался голоса:

— Еще двоих нашли.

— Один наш — Максимка Гадюкин.

Калинков дрожащими пальцами перезаряжал барабан, долго не оборачивался, хотя слышал, что плененную пару подвели сюда, к месту казни.

Гадюкин всю ночь провел в той комнате, где его допрашивал Щерба. После казни над пленными красноармейцами о нем никто не вспомнил. Он стянул со стола скатерть и, закутавшись в тонкое сукно, лежал в углу, где его обнаружили. Щерба все ночь кутил, думая, что утром они с отрядом уйдут, а Петя Хвостов так и останется в этой неприметной каморке. Его нашли на чердаке по кашлю. Сейчас его тоже гнуло и корежило, болезнь одолевала. Он пытался отхаркивать, но кашель был сухой, и Щерба сплевывал чистую слюну.

— И как ты уцелел, друг мой ситный? — обернулся Калинин к Гадюкину. — Своих повстречал, наверное, от они тебя и уберегли?

Гадюкин мрачно смотрел, не оправдывался, молча кутался в серую скатерть.

— Становитесь тогда оба, — кивнул Калинин на ущербленную пулями кирпичную стену.

— погоди, Андрей. Как это так — оба? Ты чего решаешь огульно? Не дело так, товарищ Калинин. Доказать еще надо, — раздалось недовольно от бойцов.

— А вот сейчас и докажем, — протянул он револьвер Гадюкину.

Гадюкин, окаменев, уставился на оружие. Казалось, даже дрожь внутри него утихомирилась.

— Или бери, или туда становись, — кивнул Калинин на стену дулом, словно чужой головой.

Гадюкин выпростал из-под покрывала правую руку, несмело взял револьвер. Щерба переступил гору трупов, встал у самой стены. Он вдруг почувствовал, что больше нет вынимающего легкие кашля, и простота вокруг, и невесомым стало тело.

Человек, стоявший напротив него, медленно задрал пистолетный ствол.

— Нажимай! — заорал на него Калинин.

Тот вздрогнул, но не выстрелил. Трясучка опять вселилась в него, рука с оружием ходила ходуном.

— Нажимай, мать твою курву! — клацнул зубами Калинин над самым его ухом.

— Ты такой же, как и Ставров, Алексей, хоть и не ты казнил Яник, — разомкнул уста Гадюкин.

А в голове его стучалось совсем иное: «Ты, Максим, убиваешь его из самосохранения. И все. Не придумывай себе красивых легенд».

На конце пистолета, что сжимал он в руках, выросла огненная игла, пронзившая человека напротив. Его бросило к стене, он сполз по ней, не закрывая распахнутых глаз, замер на земле с прижатыми к телу руками.

— Все-таки знакомец он твой, раз имя ему знаешь, — вырвал Калинин револьвер из онемевшей ладони Гадюкина.

Тот поднял пустой взгляд на Андрея:

— Ты думаешь, я смогу после этого воевать?

— Да пропади ты пропадом... Думать еще за тебя.

Калинков, высоко задирая ноги, преодолел завал из мертвых тел, встал над Щербой. Его мертвые, широко распахнутые веки смотрели в небо, вверху плыли рваные клочья тумана. Андрей выпрямил руку, метя с близкого расстояния точно в лоб. Он проверял себя, сможет ли теперь, когда кровь поугасла, нажать спуск хладнокровно и выдержанно. Калинин пересиливал себя и уже почти смог, но ему стало жаль нарушать кровавым пятном этот чистый лоб и эти распахнутые глаза. Он отвел руку в сторону, ударил пулей в землю. От близкого выстрела встрепенулись волосы Щербы, на лбу лег пороховой нагар. Калинин показалось, что веки дернулись... И будто виски у трупа стали сесть.

Он быстро отвернулся, зашагал прочь, укладывая оружие в кобуру. Гадюкина подхватили товарищи под руки, иначе бы он упал, потащили к тачанкам, куда выносили найденных по вагонам тифозных. Шашкин стоял поодаль, чистил подошвы сапог с налипшим мокрым листом об торчавшую из земли шашку, раздавал указания:

- Мертвых тоже не оставляйте, свезем на кладбище, похороним, как героев.
 - Тогда больные не влезут, Михаил Федорович, — докладывал один из ротных.
 - Кладите их сверху трупов, погибшим товарищам уже все равно.
- Станция Пухово опустела.

Щерба зашелся вернувшимся кашлем. В голове звенело от близкого выстрела, но он не знал — от чего. Сознание его покинуло, когда Гадюкин нажал спуск. Алексей потянулся рукой к горевшей ране. Пуля разорвала мышцу выше ключицы, еще немного — и совсем улетела бы мимо. Щерба медленно снял шинель, стал отрывать подол у нижней рубахи. Пока он лежал, наконечник стрелы, висевший на его цепочке и поставленный «на попа» неловким падением, долго впивался в грудь, под сердцем осталась вмятина.

Неумело затянув рану, плохо слыша собственный голос, Алексей произнес:
— Максим Гадюкин, товарищ Калинин... обоим не жить. Под чьим именем вы бы не прятались...

Туман улетучился безвозвратно, над Пухово парила земля.

